

И. Шмелев



НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША

ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

САТКСЪ

Иван Шмелев

**Неупиваемая чаша.
Повести и рассказы**

Православное издательство "Сатись"

Шмелев И. С.

Неупиваемая чаша. Повести и рассказы / И. С. Шмелев —
Православное издательство "Сатись",

ISBN 5-7373-0118-4

В книгу вошли повести и рассказы замечательного русского писателя И.С. Шмелева (1873-1950), написанные прекрасным слогом и проникнутые верой и любовью к России.

ISBN 5-7373-0118-4

© Шмелев И. С.

© Православное издательство "Сатись"

Содержание

Неупиваемая чаша	6
I	9
II	11
III	13
IV	15
V	18
VI	20
VII	21
VIII	24
IX	26
X	28
XI	30
XII	32
XIII	34
XIV	36
XV	38
XVI	40
XVII	42
XVIII	44
Глас в ночи. Рассказ помещика	47
Записки не писателя	51
I	51
II	54
III	58
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Иван Шмелев
Неупиваемая чаша. Повести и рассказы

© Издательство «Сатисъ», составление, оригинал-макет, оформление, 2007

Неупиваемая чаша

Дачники с Ляпуновки и окрестностей любят водить гостей «на самую Ляпуновку». Барышни говорят восторженно:

– Удивительно романтическое место, все в прошлом! И есть удивительная красавица... одна из Ляпуновых. Целые легенды ходят.

Правда: в Ляпуновке все в прошлом. Гости стоят в грустном очаровании на сыроватых берегах огромного полноводного пруда, отражающего зеркально каменную плотину, столетние липы и тишину; слушают кукушку в глубине парка; вглядываются в зеленые камни пристаньки с затонувшей лодкой, наполненной головастиками, и стараются представить себе, как здесь было. Хорошо бы пробраться на островок, где теперь все в малине, а весной поют соловьи в черемуховой чаще; но мостки на островок рухнули на середке, и прогнили под берестой березовые перильца. Кто-нибудь запоет срывающимся тенорком: «Невольно к этим берегам...» – и его непременно перебьют:

– Идем, господа, чай пить!

Пьют чай на скотном дворе, в капусте и лопухах, на выкошенном местечке. Полное запустение – каменные сараи без крыш, в проломы смотрится бузина.

– Один бык остался!

Смотрят – смеются: на одиноком столбу ворот еще торчит побитая бычья голова. Во флигельке, в два окошечка, живет сторож. Он приносит осколок прошлого – помятый зеленый самовар-вазу и говорит неизменное: «Сливков нету, хоть и скотный двор». На него смеются: всегда распяской, недоуменный, словно что потерял. И жалованья ему пять месяцев не платят.

– А господа все судятся?! – подмигивая, удивляется бывалый дачник.

– Двадцать два года все суд идет. Который барин на польке женился... а тут еще вступились... А Катерина Митревна... наплевать мне, говорит. А без ее нельзя.

И опять все смеются, и сараи – каменным пустым брюхом.

Идут осматривать дом. Он глядит в парк, в широкую аллею, с черной Флорой на пустой клумбе. Он невысокий, длинный, подковой, с плоскими колонками и огромными окнами по фасаду – напоминает оранжерею. Кто говорит – ампиры, кто – барокко. Спрашивают сторожа:

– А может, и рококо?

– А мне что... Может, и она.

Входят со смехом, идут анфиладой: банкетные, боскетные, залы, гостиные – в зеленоватом полусвете от парка. Смотрит немо карельская береза, красное дерево; горки, угольные диваны-исполины, гнутые ножки, пузатые комоды, тускнеющая бронза, в пыли уснувшие зеркала, усталые от вековых сражений. Молодежь выписывает по пыли пальцами: Аня, Костя... Оглядывают портреты: тупеи, тугие воротники, глаза навывкат, насандаленные носы, парики – скука.

– Вот красавица!

Из-за этого портрета и смотрят дом.

– Глаза какие!

Портрет в овальной золоченой раме. Очень молодая женщина в черном глухом платье, с чудесными волосами красноватого каштана. На тонком бледном лице большие голубые глаза в радостном блеске: весеннее переливается в них, как новое после грозы небо, – тихий восторг просыпающейся женщины. И порыв, и наивно-детское, чего не назовешь словом.

– Радостная королева-девочка! – скажет кто-нибудь, повторяя слова заезжего поэта.

Стоят подолгу, и наконец все соглашаются, что и в удлинённых глазах, и в уголках наивно полуоткрытых губ – горечь и затаившееся страдание.

– Вторая неразгаданная Мона Лиза! – кто-нибудь скажет непременно.

Мужчины – в мимолетной грусти несбывшегося счастья; женщины затихают: многим их жизнь на минуту представляется серенькой.

– Секрет! – спешит предупредить сторож, почесывая кулаком спину. – На всякого глядит сразу!

Все смеются, и очарование пропало. Секрет все знают и меняют места. Да, глядит.

– И другой секрет... про анпиратора! Прописано на ней там...

Сторож шлепает голой грязной ногой на табуретку, снимает портрет с костыля, держит, будто хочет благословить, и барабанит пальцами: читайте! И все начинают вполголоса вычитывать на картонной наклейке выписанное красиво вязью, с красной начальной буквой:

«Анастасия Ляпунова, по роду Вышатов. Родилась 1833 года мая 23. Скончалась 1855 г. марта 10 дня. Выпись из родословной мемории рода Вышатовых, лист 24: «На балу Санкт-Петербургского дворянства Августейший Монарх изволил остановиться против сей юной девицы, исполненной нежных прелестей. Особливо поразили Его глаза оной, и Он соизволил сказать: «Maintenant c'est l'hiver, mais vos yeux, ma petite, reveillent dans mon coeur la printemps!»¹ А наутро прибыл к отцу ее, гвардии секунд-майору Павлу Афанасьевичу Вышатову, флигель-адъютант и привез приглашение во дворец совокупно с дочерью Анастасией. О, сколь сия Монаршая милость горестно поразила главу фамилии благородной! Он же, гвардии секунд-майор Вышатов, прозревая горестную отныне участь юной девицы, единственного дитяти своего, и позор семейный, чего многие за позор не почитают, явил дерзостное послушание, в сих судьбах благопохвальное, и тот же час выехал с дочерью, в великом ото всех секрете, в дальнюю свою вотчину Вышата-Темное».

Сторож убирает портрет. Все молчат: оборвалась недосказанная поэма. Мерцающие, несбыточные глаза смотрят, хотят сказать: да, было... и было многое...

Идут к церкви, за парком. Бегло оглядывают стенную живопись, работу будто бы крепостного человека. Да, недурно, особенно Страшный суд: деревенские лица, чуть ли не в зипунах.

– Господа, в склепе опять она! В девятьсот пятом парни разбили надгробия и выкинули кости!

Входят в сыроватый сумрак, в радуге от цветных стекол. Осматривают подправленные надгробия, помятые плиты. Одно надгробие уцелело, с врезанным в мрамор медальоном ее портрет, уменьшенное повторение. Те же радостно плещущие глаза.

– Парни побили гроба... – равнодушно говорит сторож. – До «Жеребца» добирались. А старика так прозвали. А эту не дозволили беспокоить. Святой жизни будто была. Старики сказывали...

Больше он ничего не знает.

Смотрят бархатную черноту склепа – роспись, ангела смерти, с черными крыльями и каменным ликом, перегнувшегося по своду, склонившегося к ее надгробию, и белые лилии, слабо проступающие у стен: как живые.

Осмотрено все, можно домой. Не показывает сторож могилы у северной стороны церкви. В сочной траве лежит обросший бархатной плесенью валун-камень, на котором едва разберешь высеченные знаки. Здесь лежит прах бывшего крепостного человека Ильи Шаронова. Имя его чуть проступает в уголку портрета. А может быть, и не знает сторож: мало кто знает о нем в округе.

Церковь в Ляпуновке во имя Ильи Пророка, тянут к ней три деревни, а на престол бывают и из Вышата-Темного, верст за пятнадцать. Тогда приходит и столетний дьячок Каплюга, проживающий в Высоко-Владычнем женском монастыре, в Настасьиной богадельне. Старей его нет верст на сто; мужики зовут его Мусаилом и как поедут на Илью Пророка – везут на сене. От

¹ «Сейчас зима, но ваши глаза, малышка, пробуждают в моем сердце весну!» (фр.)

него и знают про старину. А он многое помнит: как переключивали Илью Пророка и как венчали Анастасию Павловну с гвардии поручиком Сергием Дмитриевичем Ляпуновым: такие-то огни на прудах запускали! Хорошо помнил дьячок Каплюга и как расписывал церковь живописный мастер, дворовый крепостной человек Илюшка.

– Обучался в чужих краях... я его и грамоте учил.

Знает Каплюга и про Жеребца, родителя Сергия Дмитриевича, и как жил на скотном во флигелечке живописный мастер, и как помер. И про блаженной памяти Анастасию Павловну, и называет ее – святая. И про Вышата-Темное, откуда она взята.

– А Егорий-то на стене... ого! И «Змея» того... прости Господи... сам видал. Только тогда об этих делах не говорили.

Лежит за рекой Нырлей, обок с Вышата-Темным, Высоко-Владычней монастырь, белый, приземистый, – давняя обитель, стенами и крестом ограждавшая край от злых кочевников: теперь это женская обитель. На южной стене собора светлый рыцарь, с глазами-звездами, на белом коне, поражает копьём Змея в черной броне, с головой, как у человека, – только язычище, зубы и пасть звериные. Говорят в народе, что голова того Змея – Жеребцова.

Много рассказов ходит про Ляпуновку. А вполне достоверно только одно, что рассказывает Каплюга. Сам читал, что записано было самим Ильёю Шароновым тонким красивым почерком в «итальянскую тетрадь бумаги». Тетрадь эту передал дьячку сам Илья накануне смерти.

– Так и сказал: «Анисьич... меня ты грамоте обучил... вот тебе моя грамота...»

Хранил дьячок ту тетрадь, а как стали переносить «Неупиваемую Чашу» из трапезной палаты в собор, смутился духом и передал записанное матушке настоятельнице втайне. Говорил Каплюга, будто и доселе сохраняется та тетрадь в железном сундуке, за печатями, – в покоях у настоятельницы. И архиерей знает это и повелел:

– Храните для назидания будущему, не оглашайте в настоящем, да не соблазнятся. Тысячи путей Господней благодати, а народ жаждет радости...

Умный, ученый был архиерей тот и хорошо знал тоску человеческого сердца.

Вот что рассказывают читавшие.

I

Был Илья единственный сын крепостного дворового человека, маляра Терешки, искусного в деле, и тягловой Луши Тихой. Матери он не знал: померла она до году его жизни. Приняла его на уход тетка, убогая скотница Агафья Косая, и жил он на скотном дворе, с телятами, без всякого досмотра, – у Божья глаза. Топтали его свиньи и лягали телята; бык раз поддел под рубаху рогом и метнул в крапиву, но Божий глаз сохранял, и в детских годах Илья стал помогать отцу: растирал краски и даже наводил свиль орешную по фанерам. Но был он мальчик красивый и румяный, как наливное яблочко, а нежностью лица и глазами схож был с девочкой, и за эту приглядность взял его старый барин в покои – подавать и запалывать трубки. И вот однажды, когда второпях разбил Илья о ножку стола любимую баринову трубку с изображением голой женщины, которой в бедра сам барин наминал табак с крехотом, приказал тиран дать ему соленого кнута на конюшне. Сказал:

– Узнаешь, песий щеняка, чем трубка пахнет.

Тогда от стыда и страха убежал Илья к тетке на скотный и, втайне от нее, хоронился в хлеву, за соломой, выхлебывая свиное пойло. Но не избежал наказания и опять был приставлен к трубкам.

Звали люди барина Жеребцом. Был он высок, тучен и похотлив; все пригожие девки перебивали у него в опочивальной. Был он сроду такой, а когда повывал дочерей замуж, а сына прогнал на службу, стал как султан турецкий: полон дом был у него девок. Даже и совсем недоростки были. Помнил Илья, как кинулся на барина с сапожным ножом столяр Игнашка, да промахнулся и был увезен в острог. Но стал барин хиреть и терять силы. Тогда водили к нему особо приготовленных девок: парили их в жаркой бане и секли яровой соломой, оттого приходили они в ярое возбуждение и возвращали тирану силы.

Тяжело и стыдно было Илье смотреть на такие дела, но по своей обязанности состоял он при барине и неотлучно. Даже требовал от него барин ходить нагим и смотреть весело. А он закрывал от стыда глаза. Тогда приказывал ему барин-тиран делать разные непотребства, а сам сидел на кресле, сучил ногами и курил трубку.

Было тогда Илье двенадцать лет.

Как-то летом поехал барин глядеть мельницу на Проточке, – прорвало ее паводком. Редко выбирался он из дому, а Илья все надумывал, как бы сходить в монастырь, помолиться, – ждал случая. И вот, не сказав ни отцу, ни ключнице – старухе Фефелихе, в стыде и скорби, побежал на Вышата-Темное, в Высоко-Владычний монастырь: слышал часто и от дворовых, и от прохожих людей, что получают там утешение.

После обедни он остался в храме один и стал молиться украшенной лентами золотой иконе. Какой – не знал. И вот подошла к нему старушка монахиня и спросила с лаской:

– Какое у тебя горе, мальчик?

Илья заплакал и сказал про свое горе. Тогда взяла его монахиня за руку и велела молиться так: «Защити-оборони, Пречистая!» И сама стала молиться рядом.

– А теперь ступай, с Богом. Скушай просвирку, и укрепишься.

Дала из мешочка просвирку, покрестила и вывела из храма. И легко стало у Ильи на сердце.

Всю дорогу – пятнадцать верст – сосновым бором весело прошел он, собирая чернику, и пел песни; и кто-то шел с ним кустами и тоже пел. Должно быть, это был отзвук. И вовсе не думалось ему, что воротился с мельницы барин и хлопает в ладони – кличет. Только подходит к лавам на Проточке – выскочила из кустов Любка Кривая, которой проткнул барин глаз, вышпынивая из-под лестницы, куда она от него забила, охватила Илью за шею и затрепала:

– Илюшечка, миленький, красавчик! Утоп наш Жеребец проклятуший на мельнице, не по своей воле! Туточки верховой погнал на деревню, кричал...

Завертела его как бешеная, зацеловала. Возрадовался Илья в сердце своем и не сказал никому про свою молитву.

Положил Господь на весы правды своей слезы рабов и покарал тирана напрасной смертью.

Всю жизнь снился Илье старый барин: мурластый, лысый, с закатившимися под лоб глазами, в заплеванном халате, с волосатой грудью, как у медведя, и ногами в шерсти. И всю свою недолгую жизнь говорил Илья в тягостную минуту старухину молитву.

II

Стал на власть молодой барин, гвардии поручик Сергей Дмитриевич. Приехал из Питера – при старом барине бывал редко – и завел псовую охоту на удивление всем. Стало при нем много веселей. Старый медведем жил, не водился с соседями, а молодой погнал пиры за пирами. Завел песельников и трубачей, поставил на островке «павильон любви» и перекинул мостки. Стали плавать на прудах лебеди.

Опять отошел Илья к отцову делу: расписывал на беседках букеты и голяков со стрелками – амуров. Не хуже отца работал.

Добрый был молодой барин, не любил сечь, а сказал:

– Надо вас, дураков, грамоте всех учить: ученье – свет!

Призвал молодого дьячка Каплюгу с погоста да заштатного дьякона, пьяницу Безносого (провалился у него нос), и приказал гнать науку на всех дворовых – стариков и ребят. Вырезал себе Безносый долгую орешину и доставал до лысины самого заднего старика, у которого и зубов уже не было. Плакали в голос старики, молили барина их похерить. А Безносый доставал орешиной и гнусил:

– Не завистьуй господской доле! Господская наука всем мукам мука!

Кончилось обучение: нашли Безносого под мостками в Проточке, у полыньи: разбился во хмелю будто.

Выучился Илья у Каплюги бойко читать Псалтырь и по гражданской печати; и писать и считать выучился отменно. Пришел барин прослушать обучение и подарил Илье за старание холста на рубаху, новую шапку к зиме и гривну меди на подмонастырную ярмарку, что бывает на Рождество Богородицы.

Памятна была Илье та первая гривна меди.

Пригоршню сладких жмехов, корец имбирных пряников и полную шапку синей и желтой репы накупил он на ярмарке; три раза проползал под икону за крестным ходом и шей монастырских с сомовиной наелся досыта. Слушал слепцов, нагляделся на медведя с кольцом в ноздре. Помнил до самой смерти тот ясный, с морозцем, день, засыпанный кистями рябины у монастырских ворот, и пушистые георгины на образах. А когда возвращался с народом через сосновый бор – вольно отзывался бор на разгульные голоса парней и девок. Пели они гулевую песню, перекликались. Запретная была эта песня, шумная – только в лесу и пели.

Пели-спрашивали – перекликались:

С'отчево вьюгой-метелюжкой метет.
С'отчево не все дорожки укрывает?
Одну-ю и вьюжина не берет?
А какую вьюжина не берет?
Всю каменьем умощенную,
Все кореньем с хвощиною!
А какую метелюга не метет?
Ой, скажи-ка, укажи, лес-бор!
Самую ту, что на барский двор!

Радовался Илья, выносил подголоском, набирал воздуху – ударят сейчас все дружно. Так и заходит бор:

Чтоб ей не было ни хожева,
Ой, не хожева, не ездева!

Ай, вьюга-метелюга, заметай!
Ай, девки, русы косы расплетай!

Минуло в ту осень Илье шестнадцать лет.

III

Прошло половодье, стала весна, и в монастыре начали подновлять собор. Приехала к барину с поклонами обительская мать казначея – ездила по округе, – не отпустит ли для малярной работы чистой умелого мастера Шаронова Терешу? Охотно отпустил барин: святое дело.

Лежало сердце у Ильи к монастырской жизни: тишина манила. Хорош был и колокольный набор и вызвон: приезжал обучать звонам знаменитый позаводский звонарь Иван Куня и обучил хорошо слепую сестру Кикилию. Умела она выблаговестить на подзвоне – «Свете Тихий».

Уж собираться было отцу уходить в монастырь на работу, и барин стал собираться в отъезд, в степное имение, до осенней охоты. Тогда нашла на Илью смелость. Прометил он – пошел барин утречком на пруды кормить лебедей, понесла за ним любимая девка, Сонька Лупоглазая, пшеничную кашу в шайке. Подобрался Илья кустами, стал выжидать тихой минутки.

Веселый стоял барин на бережку, у каменистого причала, где резные, Ильей покрашенные лодки для гулянья, швырял пшеничную кашу в белых лебедей, а они радостно били крыльями. Такое было кругом сиянье!

В китайский красный халат был одет барин, с золотыми головастыми змеями, и золотая мурмолка сияла на голове, как солнце. Так и сияла, как икона. И день был погожий, теплый, полный весеннего света – с воды и с неба. Как в снегу, белый был островок в черемуховом цвете. Стучали ясными топорами плотники на мостках, выкладывали перильца белой березой.

Услыхал Илья, как говорит весело барин:

– Лебедь есть птица богов, Сафо. Помни это. Они полны благородства и красоты. Помни это. Поиграй на струнах.

Радовался Илья. Знал, что в духе сегодня барин, если разговаривает с Сафо – Сонькой Лупоглазой.

Вся в белом Сафо, как отроковица на иконе в монастыре, с голубками. Приказал ей барин надевать белый саван, распускать черные волосы по плечам, на голову надевать золотое кольцо, а на ногах носить с ремешками дощечки. Приказал белить румяные щеки и обводить глаза углем. Совсем новой становилась тогда она, как на картинках в доме, и любил смотреть на нее Илья: будто святая. А через плечо висели на ней гусли, как у царя Давида. Самая красивая была она, и ее покупал еще у старого барина заезжий охотник, давал пять тысяч. Так говорил Спиридошка-повар, ее отец. Не нужна она была старому барину; слабый он был совсем, а только потому и не продал, что очень она была красива телом – любил сидеть и смотреть. А когда стал на власть молодой барин, взял ее из девичьей в покои, на особое положение, и приказал называть ее всем – Сафо. Так и звали, подлащивались к новой любимице, а меж собой стали звать – Сова Лупоглазая. Даже Спиридошка-повар, Сонькин отец, передавая ей блюдо с любимым кушаньем барина – бараньими кишками с кашей, говорил уважительно:

– Пожалуйте вам, Сафа Спиридоновна, кишочки.

А вслед плевался и кричал на Илью:

– Чего, паршивец, смеешься!

Выбрался Илья на прудовую дорожку и издали упал на колени. Сказал:

– Отпустите, барин, с отцом... поработать на монастырь!

Знал Илья, никогда барин сразу не обернется, а все слышит. Покормил барин лебедей, вытер о халат руки и приказал подойти ближе. Сказал:

– Это ты, грамотей? – и погладил по голове. – Ты красивый парень. Скажи, Сафо... любят его девки?

Сафо закатила глаза – учил ее так барин, – выставила ногу и сказала нараспев в небо:

– О, не знаю-с, барин!

Испугался Илья: рассердился барин, не пустит его в монастырь на работу. А барин затопал и замахал руками:

– Дура! Не «барин» надо, а «го-спо-дин»! Так говорили греки! Слушай: «Не знаю, о мой господин». В монастырь работать? А ну, что скажешь, Сафо?

Тогда Илья с мольбой посмотрел на Сафо, и его глаза застлало слезами. И опять испугался. Сказала Сафо опять:

– О... можно, барин!

Затопал барин еще пуще.

– Ах ты, ду-ра утячья! Пошла, пошла... Выучись по моей записке с Петрушкой... Постой... Повтори: «Отпусти его, о господин мой!» И поиграй на струнах.

Обрадовался Илья: она ладно сказала, отвернув голову, и позвонила на гусях.

– Ступай, – сказал барин. – Благодарю ее за вкус манер. А то бы не работать тебе в монастыре. Ей обязан!

До самой смерти помнил Илья то светлое утро с лебедями и бедную глупенькую Сафосоньку. Не скажи она ладно – было бы все другое.

IV

Радостно трудился в монастыре Илья.

Еще больше полюбил великолепную тишину, тихий говор и святые на стенах лики. Почуял сердцем, что может быть в жизни радость. Много горя и слез видел и чуял Илья и испытал на себе; а здесь никто не сказал ему плохого слова. Святым гляделось все здесь: и цветы, и люди. Даже обгрызенный черный ковшик у святого колодца. Святым и ласковым. Кротко играло солнце в позолоте икон, тихо теплились алые огоньки лампад... А когда взывала тонким и чистым, как хрусталец, девичьим голоском сестра под темными сводами низенького собора: «Изведи из темницы ду-шу мою!» – душа Ильи отзывалась и тосковала сладко.

Расписывали собор заново живописные мастера-вязниковцы, из села Холуя, знатоки уставного ликописания. Облюбовал Илью главный в артели, старик Арефий, за пригожесть и тихий нрав, пригляделся, как работает Илья мелкой кистью и чертит углем, и подивился:

– Да братики! да голубчики! Да где ж это он выучку-то заполучил?!

И показывал радостно и загрузовку, и как наводит контур, и как вымерять лики. Восклищал радостно:

– Да братики! да вы на чудо-то Божие поглядите! да он же не хуже-те моего знает!

Дивился старый Афанасий: только покажешь, а Илье будто все известно.

Проработал с месяц Илья – поручил ему Арефий писать малые лики, а на больших – одеяние. Учил уставно:

– Святому вохры-то не полагается. Ни киновари, ни вохры в бородку-те не припускай, нет рыжих. Один Иуда рыжий!

Выучился Илья зрак писать, белильцами светлую точку становить, без циркуля, от руки, нимбик класть. Крестился Арефий от радости:

– Да вы, братики, поглядите! да кокой же золотой малец! Да это же другой Рублев будет! Земчуг в навозе обрел, Господи! – поокивал Арефий, допрашивал маляра Терешку: – Да откуда он у те взялся?

Смотрел Терешка, посмеивался:

– По седьмому году он у меня сани расписывал глазками павлиньими, по восьмому варабеску у потолку наводил!

Приходили монахини, подбирали бледные губы, покачивали клубуками:

– Благодать Божия на нем... произволение!

Стыдливо смотрел Илья, думал: так, жалеет его Арефий. Радостно давалась ему работа. За что же хвалит? Сказал Арефию:

– Мне и труда нимало нету, одна радость.

Растрогался Арефий до слез и открыл ему, первому, великий секрет – невыцветающей киновари:

– Яичко-те бери свежохонечкое, из-под курочки прямо. А как стирать с киноварью будешь, сушь бы была погода... ни оболочка! Небо-те как Божий глазок чтобы. Капелечки водицы единой – ни Боже мой! да не дыхай на красочку-те, роток обвяжи. Да про себя, голубок, молитву... молитовочку шепчи: «Кра-а-суйся-ликуй и ра-а-дуйся, Иерусалиме!»

Сам все нашептывал-напевал эту кроткую, радостную песнь церкви, когда выписывал в слабом свете под куполом старого Бога Саваофа, маленький и легкий, как мошка.

Уже старей-старей был он, с глазками-лучиками, и, смотря на него, думал Илья, что такие были старенькие угодники – Сергей и Савва, особо почитаемые Арефием.

Стояла в монастырском саду караулка – один сруб, без настила, – крытая по жердям соломой. Тут и жили живописные мастера, а обедать ходили в трапезную палату.

Еще когда цвели яблони, в первые дни работы, вышел Илья из караулки на восходе солнца. Весь белый был сад, в слабом свете просыпающегося солнца, и хорошо пели птицы. Так хорошо было, что переполнилось сердце, и заплакал Илья от радости. Стал на колени в траве и помолился по-утреннему, как знал: учила его скотница Агафья. А когда кончил молитву, услышал тихий голос: «Илья!» И увидел белое видение, как мыльная пена или крутящаяся вода на мельнице. Один миг было ему это видение, но узрел он будто глядевшие на него глаза... В страхе прикинул он к траве и лежал долго. И услышал – окликает его Арефий:

– Ты что, Илья?

Поднялся Илья и рассказал Арефию: видел глаза, такие, каких ни у кого нет.

– Ну, какие? – допытывался Арефий.

– Не знаю, батюшка... таких ни у кого нету...

Мог, зашурясь, вызвать эти глаза, а сказать не мог.

– Строгие, как у Николы Угодника? У Ильи Пророка? – все допытывался встревоженный Арефий.

– Нет, другие... через них видно... будто и во весь сад глаза, светленькие...

Покачал задумчиво головой Арефий: так, со сна показалось. Не поверил. А Илья весь тот день ходил как во сне и боялся, и радовался, что было ему видение: слышал, как читали монахини в трапезной Жития, что бывают видения к смерти и послушанию.

С этого утра положил Илья на сердце своем – служить Богу. Только не разумел – как.

Ласково жили в монастыре: ласку любил Арефий. Всех называл – братики да голубчики, подбадривал нерадивых смешком да шуткой. Много знал он ласково-радостных сказочек про святых, чего не было ни в одной книге: почему у Миколы глаза строгие, как октябрь месяц, почему Касьян – редкий именинник, а Ипатия пишут с тремя морщинками. Обведало все это благодатной теплотой мягкое Ильино сердце.

Спрашивал Илья Арефия:

– А почему мученики были греки, а то римляне... а наших нету?

– А вот тебе царь Борис-Глеб, наши! Митрополит Филипп... Димитрий-царевич!

– А мужики-мученики какие?

– Какие? А погоди...

Припоминал Арефий: юродивые, блаженные, столпники, преподобные...

Не мог вспомнить. Слушал маляр Терешка, посмеивался:

– Краски, дядя Арефий, про всех не хватит... много нас больно. Потому и не пишут!..

Да и образа-то... рылом не вышли!

Рассердился Арефий, поморщился:

– Ты этим не шути, братик!

Август подходил, краснели по саду яблоки. Заканчивалась живописная работа. Загрустила душа Ильи. Когда спали после трапезы мастера и замирало все в тишине монастырской, уходил Илья в старый собор, забирался на леса, под купол, где дописывал Арефий Саваофа с ангелами и белыми голубями у подножия облаков. Сидел в тишине соборной. Вливались в собор через узкие решетчатые оконца солнечные лучи-потоки, а со стен строго взирали мученики и святые. И подумалось раз Илье: все лики строгие, а как же в Житиях писано – читали монахини за трапезой, – что все радовались о Господе? Задумался Илья, и вдруг услышал он, как зашумело-зазвенело у него в ушах кровью и заиграло сердце. Вспомнил он, что скоро уйдет Арефий, и захотелось ему сделать на прощанье Арефию радость. Тогда, весь сладко дрожа, помолился Илья на Бога Саваофа в облаках и евангелисту Луке, самому искусному ликописному мастеру, – помнил наказ Арефия, – отпилил сосновую дощечку, загрузил, и утвердился его рука. Неделю, втайне, работал он под куполом в послеобеденный час.

И вот наступил день прощанья: уходил Арефий с мастерами и он с отцом – к своему месту. Тогда, выбрав время, как остались они вдвоем на лесах, подал Илья с трепетом и любовью Арефию икону преподобного Арефия Печерского.

Взглянул Арефий на иконку, вскинул красные глазки с лучиками на Илью и вскричал радостно:

– Ты, Илья?!

– Я... – тихо сказал Илья, озаренный счастьем. – Порадовать тебя, батюшка, помнить про меня будешь...

Заплакал тогда Арефий. И Илья заплакал. Не было никого на лесах, под куполом, только седой Саваоф сидел на облаках славы. Сказал Арефий:

– Да что ж ты, голубок, сделал-то? Ты меня... самоличного... в преподобного вообразил! Грешника-те... о Господи!

Ничего не сказал Илья. Все было писано по уставу ликописания: схима, церковка с главками и пещерка у ног преподобного, – все вызнал Илья от Арефия, какое уставное ликописание его ангела. Только лик взял Илья от Арефия: розовые скульпсы, красные, сияющие лучиками глаза и седую реденькую бородку.

Показал мастерам Арефий: посмеялись – живой Арефий.

– То портрет церковный... – раздумчиво сказал Арефий. – Не с нами тебе, Илья... Плавать тебе по большому морю.

Путь их лежал на Муром, и пошли они на Ляпуново, лесом. Всю дорогу шел Илья по кустам, набирал для Арефия малину, переживая тяжелую разлуку. В слезах говорил Арефий:

– Господи, великую радость являешь в человеке. Не могу уйти: пойду, Илья, сказать твоему барину. Не могу тебя так оставить.

– Уехал далече барин... – сказал Илья.

А когда показалось за Проточком высокое Ляпуново с прудами и барским домом, ухватился Илья за Арефия и заплакал в голос. Постояли минутку молча, и сказал Арефий:

– Плавать бы тебе, Илья, по большому морю!

И разошлись. И никогда больше не встретились. Ушли мастера на Муром.

V

Осенью воротился со степей барин и привез лису чернобурую, девку-цыганку. Прогнал с глаз встретившую его Соньку-Сафо и приказал всем почитать цыганку за барыню, называть Зоя Александровна.

Была та Зойка-цыганка вертлявая, худящая, как оса, и злая. Когда злилась – гикала по всему дому, визжала по-кошачьи и лупила по щекам девок. Вытрясла из сундуков старые шали, шелка и бархаты, раскидала по всему дому, даже на стены вешала. Загоняла старую ключницу Фефелиху. Возами возили из города и сукна, и штоф, и парчу, и всякие наряды, а Зойка валялась по полу в лентах и вызванивала на гитаре. Дивились люди, что даже барина по щекам лупит: опоила.

Тут пришла на Илью напасть: велел барин при столе стоять в полном параде. Надел Илья красный камзол, белый парик с косицей, зеленые чулки и туфли с пряжками и кисейный галстук. Увидела его цыганка и закатилась смехом:

– Марькиз-то вшивый!

И барин стал звать, и дворовые, и даже мальчишки на деревни кричали:

– Марькизь-то вшивый!

Было Илье обидно непонятное слово. Днями сидел он в лакейской и плакал втайне, вспоминая Арефия.

Тут пришло на него горшее искушение.

Уехал барин на медвежью охоту, на целую неделю. Садилась Зойка за стол одна, в красных шалих, пила стаканами ренское вино. Упилась раз до злости, обожгла Илью черными глазами и приказала пить за ее здоровье. Никогда не пил Илья вина – греха боялся. А тут поскидала с себя Зойка красные шали, оголилась до пояса, подтянула под темные груди алую ленту с нанизанными червонцами и уставилась на Илью глазищами. Опустил Илья глаза в пол от искушения. А она притянула его за руку к себе и заморозила глазами-змеями. Поглядел Илья на ее жаркие губы и убежал в страхе от соблазна. А она смеялась.

Понял тогда Илья, что послано ему искушение, помолился Страстям Господним и укрепился.

После обеда повалил снег, и зашумела на дворе метелюга. Тогда крикнула Илье Зойка – топить самый большой камин, Львиную Пасть, приказала ему сидеть при огне неотлучно и замкнула его в опочивальной. Понял тогда Илья, что идет на него новое искушение. Стал на колени и помолился Иоанну Киевскому. И слышит:

– Ступай, Фефелиха, в баню!

Вошла Зойка в опочивальню, а дверь замкнула. Стало в опочивальной жарко. Тогда выбежала Зойка из-за ширмы, босая и обнаженная, ухватила Илью сзади за шею и потребовала иметь с ней грех. Но совладал Илья с искушением: схватил горящую головешку и ткнул ее в голую грудь блудницы. Слышал только визг неистовый, похожий на кошачий, и уже ничего не помнил. Очнулся и видит: сидит он в своей камерке, на тюфяке, а на дворе ночь черная и шумит метелюга. Пришла старая Фефелиха и смеется:

– Змея-то наша спяну на головешку упала, ожглась.

Не сказал Илья про искушение. Не трогала его с той поры Зойка. А на масленице повез барин Зойку в Киев, на ярмарку, а воротился один: пропала она без вести.

Понял тогда Илья, что послана была ему Зойка-цыганка для искушения: ему и барину.

Стал после того барин тихий. Даже на охоту перестал ездить, а приказал открыть большой шкаф с книгами – не помнил Илья, когда его открывали, – и стал читать с утра до вечера. Стал читать и Илья, и читал с охотой. И узнал много нового о жизни и людях.

И вдруг барин совсем переменялся. Призвал Гришку Патлатого, портного, и велел шить на него власяницу. Не знал Гришка, какая бывает власяница, и сшил он халат из колючего войлока. Надел барин халат на голое тело и подпоясался веревкой. Сказал Илье:

– Надо спасти душу.

Тогда спросил Ильи, чтобы позволил барин и ему надеть власяницу. И стали они вести жизнь подвижническую. Будил барин по ночам Илью и наказывал читать Псалтырь. А сам становился на колени, на горку крупы с солью, и стоял до утра.

Недели две так молился барин. Радовался Илья. И переменялся вдруг.

Ночью было. Читал Илья из псалма любимое: «...аще возьму крыле моя рано и вселюся в последних моря...» – как барин крикнет:

– Стой, маркиз! Буди всех, зови сюда певчих девок!

Понял Илья, что это барину искушение, и продолжал: «...и тамо бо рука Твоя...» Но еще пуще закричал барин. Тогда разбудил Илья певчих девок. Собрались девки в белых покрывалах, как, бывало, Сафо ходила, и запели сонными голосами любимую баринову «Венеру»:

Един млад охотник
В поле разъезжает,
В островах лавровых
Нечто примечает...
Венера-Венера!
Нечто примечает...

Не дал им кончить барин, приказал выдать сушеного чернослива и спать ложиться. Сказал:

– Опостытели вы мне, головы утячи! Не умеете жизни радоваться, и мне через вас радости нет. Уеду от вас на край света. А с собой Илюшку возьму за камердинера. Сшить ему камзол серый с золотыми пуговицами! И пошли все вон!

Пошел Илья в свою каморку, при лакейской, под лестницей. И уж взял было икону мученика Терентия, отцу дописывать, – по ночам втайне работал, – отворилась дверь, и спросил барин:

– Это что такое, огонь горит?!

Тогда в страхе признался Илья в слабости своей: сказал, что по ночам только трудится, а днем выполняет положенное. Взял барин иконку, увидел, что похож мученик на маляра Терешку, и сказал, подняв руки:

– Ты, дурак, и не понимаешь, что ты ге-ний! Но ты и негодяй за то, что во святого мученика Терентия Терешку-пьяницу произвел!

Потребовал показать – еще что писано. Зойку-цыганку признал на листе, на стенке: в пещере она лежала, как Мария Египетская. Сорвал со стенки и под власяницу спрятал. Признал и себя: сидел в золотой короне на высоком троне. Вскричал грозно:

– Я?! в короне?!

Затрепетал Илья и пал на колени, прося прощения. Но не рассердился барин, дал поцеловать руку и сказал милостиво:

– Перст Божий меня привел. Значит, должен я тебя повезти в науку. Петр Великий посылал дураков за море учиться, вот и я тебя повезу. Пусть знают, какие у нас русские гении даже из рабов! Спи и не страшись наказания.

И обрадовался Илья, что так обернулось. Потому что хотел он написать Диоклетиана-гонителя и мучеников, а не успел написать и имярек не вывел.

VI

Весна пришла, а все готовили барина в дальнюю дорогу. Налаживали кузнецы и каретники дорожную раскидную коляску: и спать, и принимать пищу, и всячески прохладиться можно было в той раскидной коляске: потому и называлась она – ладно.

Отпели Пасху. Полный расцвет весны был. Забелело черемухой кругом пруда. Прощался Илья со всеми. И на пруду посидел, и с лошадьми попрощался. Сбегал на скотный двор к тетке – поплакать перед разлукой. Утешала его тетка Агафья – барская воля, покоришься. Творожку в узелочке дала ему на дальнюю дорогу и меди пятак на свечку Угоднику Миколле: в дальних краях мощи его нетленно почивают – кто и укажет, может. У отца попросил благословения и со слезами простился: тяжело больной другой месяц лежал маляр Терешка, отнялись у него ноги. Заплакал Терешка – никогда раньше не видал Илья, как отец плачет: всегда смеялся. И Спиридошке-повару поклонился в ноги, благодарил за ласку: давал ему Спиридоша барские кусочки. Сбегал и на погост, к Каплюге...

Сказал ему Каплюга:

– Есть в городе всесветном, именуемом Рым-город, самый главный собор, и сидит в том соборе папа римский, за Христа почитаемый. Всем велит целовать ногу. Ту ногу не целуй смотри.

И дал ему Каплюга четвертак серебряный – на свечу Петрову гробу, сказал:

– Кто Петрову гробу свечу поставит – в рай попадет. За грамоту мою послужи.

Сбегал и в монастырь Илья: обернулся за ночь. Горячо помолился в утрени... А как бежал обратно лесной дорогой – простился с лесом. Новым показался ему тот лес, в новых иглах, в белой калине, в весело зеленевшем орешнике. Соловьи заревые щелкали по оврагам. И соловьям говорил – прощайте, и ключику-кадушке в логу, и ястребам в небе. И будто слышал Илья, как говорит ему лес: воротись.

Приказал барин служить в церкви молебен «В путь шествующим». Согнал бурмистр Козутоп Иваныч на проводы всю деревню. После молебна объявил барин мужикам, что не для радости какой едет, а от великой скорби: скушно ему глядеть на темную жизнь, никогда веселого лица не видит.

– Ворочусь – новую церковь, просторную, выведу для вас. А вот обучу там Илью – он и распишет... Будете веселей молиться.

Взял в дорогу, чтобы не скучно было, глупенькую Сафо-Соньку, приказал надеть цыганкино платье и зеленую тальму. И поехали, провожаемые верховыми до большого тракта.

Пошли чужие села и деревни, и леса, и города, большие и малые. Ново и радостно было Илье все это. Налетали ливни и грозы, жарило солнцем и обсушивало ветрами. Дни и ночи смотрел Илья с валкого местечка на козлах – радовался. Не случилось в пути до самой границы никакого лиха, и отпустил барин силача шорника Панфила с пистолетом, свою охрану. Одно случилось, сильно опечалившее Илью: у самой границы пропала Сафо, как камень в воду. Пошла в городке покупать барину чулки шерстяные, необыкновенные, – проезжие всё хвалили, – повел ее старый поляк-деляга, – и пропала. Три дня простояли в том городке, у городничего жили, все места непотребные обыскали. Пропала Сафо, как в воду камень. Сказал барин:

– Туда ей и дорога, шельме! Так и знал, какая у ней повадка.

Поплакал Илья на своем местечке, а потом вспомнил, как перешептывался с Сафо Панфил-шорник, как он же сыскал и того поляка-делягу, и подумал: может, ушли в немецкую землю. Не сказал барину: может, там лучше будет.

VII

Четыре года прошло, и были эти четыре года как сон светлый: затерялась в нем далекая Ляпуновка.

Снились – были новая земля и новое небо. А светлее всего была давшаяся неожиданно воля: иди, куда манит глаз.

Море видел Илья – синее земное око, горы – земную грудь, и все светлый город, который называют: Вечный. Новых людей увидел и полюбил Илья. Чужие были они – и близкие. Радостным, несказанным раскинулся перед ним мир Божий – простор бескрайний. И новые над ним звезды. И цветы, и деревья – все было новое. И новое надо всем солнце.

Чужое было, неизвестное – и свое: прилепилась к нему душа. Даже и своего Арефия снова нашел Илья, седенького, быстрого, с такими же розовыми скульцами и глазами-лучиками. Только свой Арефий хлопал себя по бедрам и восклицал распевом:

– Да ты го-лубь ты мо-ой!

А этот хватал за плечо и вскрикивал:

– Браво, руски Иля!

Взлет души и взмах ее вольных крыльев познал Илья и неиспиваемую сладость жизни. Изливалась она, играла: и в свете нового солнца, и в сладостных звуках церковного органа, и в белых лилиях, и в неслыханном перезвоне колоколов. Переливалась в его глаза со стен соборов, с белых гробниц, с бесценных полотен сокровищниц. Новые имена узнал и полюбил Илья: Леонардо и Микеланджело; Тициана и Рубенса; Рафаэля и Тинторетто... Камни старые узнал и полюбил Илья, и приросли они к его молодому сердцу.

Год учился он в городе Дрездене, у русского рисовальщика Ивана Михайловича.

Непонятно было Илье тогда: вольный был человек Иван Михайлович и сильно скучал по родине, а ехать не мог. Обласкал его этот человек, как родного, говорил часто:

– Помни, Илья: народ породил тебя – народу и послужить должен. Сердце свое слушай.

Не понимал Илья, как народу послужить может. А потом понял: послужить работой.

Прошел год. Сказал Илье рисовальщик:

– Больше тебе от меня нечего взять, Илья. Велико твое дарование, а сердце твое лежит к духовному. Так и напишу владельцу твоему. А совет мой тебе такой: наплюй на своего владельца, стань вольным.

Тогда сказал ему Илья, удивленный:

– Если я уйду тайно от барина, как могу я воротиться на родину и послужить своему народу? Скитаться мне тогда, как бродяге. Я на дело повезен баринем: обучусь – распишу церковь. Вот и послужу родному месту.

Определил его тогда барин в живописную мастерскую в городе Риме, к ватиканскому мастеру Терминелли. Работал у него Илья три года.

Был он красивый юноша и нежный сердцем, и все товарищи полюбили его. Были они парни веселые и не любили сидеть на месте. Прозвали они Илью – фанчулла, что значит по-русски – девочка, и насильно водили его в трактиры и на танцы, где собирались красивые черноглазые девушки. Но не пил Илья красного вина и не провожал девушек. Дивились на него товарищи, а девушки обижались. Только одна из них, продававшая цветы у собора, тихая, маленькая Люческа, была по сердцу, но не посмел Илья сказать ей. Но однажды попросил ее посидеть минутку и угольком нанес на бумагу. Посмеялись над ним товарищи:

– Все равно, она у него и так живая!

Спрашивали Илью:

– Кто ты, Илья? И кто у тебя отец в твоей холодной России?

Стыдно было Илье сказать правду, и он говорил глухо:

– Мой отец маляр, служит у барина.

И еще стыднее было ему, что говорит неправду. А они были все вольные и загадывали, как будут устраивать жизнь свою. Спрашивали Илью:

– А ты, Илья... в Россию свою поедешь?

Он говорил глухо:

– Да, в Россию.

На третьем году написал Илья церковную картину, по заказу от господина кардинала. Хлопнул его по плечу Терминелли, сказал:

– Эта святая Цецилия не хуже Ватиканской! Она лучше, Илья! Она – святая. Нет, ты не раб, Илья!

Поник головой Илья: стало ему от того слова больно. Понял его старый Терминелли, затрепал по плечу, заторопился:

– Я хотел сказать, что ты не берешь от других... Ты – сам!

А потом видел Илья, как отсылали картину кардиналу, а в правом уголку стояла черная подпись: Терминелли.

К концу третьего года стал Терминелли давать Илье выгодную работу: расписывать потолки и стены на подгородних виллах. Триста лир заработал он у виноторговца за одну неделю и еще двести у мясника, которому написал Мадонну. Горячо хвалили его работу. И сказал Терминелли:

– Ты – готовый. Теперь можешь ставить на работе свое имя. Не ездь, Илья, в Россию. Там дикари, они ничего не понимают.

Сказал Илья:

– Потому я и хочу ехать.

Сказал удивленный Терминелли:

– Здесь ты будешь богатый, а там тебя могут убить кнутом, как раба!

Тогда посмотрел Илья на Терминелли и сказал с сердцем:

– Да, могут. Но там, если я напишу святую Цецилию, будут радоваться, и рука не подыметься на меня с кнутом. А на работе будет стоять мое имя – Илья Шаронов.

Понял Терминелли и устыдился. Дал Илье пятьсот лир, но Илья не взял.

Сказал Терминелли:

– Вот ты раб, а гордый. Трудно тебе будет у твоего господина. Оставайся, я дам тебе самую большую плату.

Но не хотел никакой платы Илья: томила его тоска по родному.

Все радостное и светлое было в теплом краю, где он жил. Грубого слова, ни окрика не услышал он за эти три года. Ни одной слезы не видал и думал – счастливая сторона какая. Песен веселых много послушал он: пели на улицах, и на площадях, и на деревенских дорогах, и по садам, и в полях. Везде пели. А были дни праздников – тогда и пели, и кидали цветами. А за крестным ходом – видел Илья не раз – выпускали голубей чистых и жгли огни с выстрелами: радовались.

Но еще больше тянула душа на родину.

Многое множество цветов было кругом – белые и розовые сады видел Илья весной: и лилии белые, тихие цветы мучеников, и маленькие фиалки, и душистая белая акация, миндаль и персик, пахучие, сладкие цветы апельсиновых и лимонных деревьев, и еще множество роз всякого цвета.

Но весной до тоски тянула душа на родину.

Помнил Илья тихие яблочные сады по весне, милую калину, как снегом заметанные черемухи и убранные ягодами раскидистые рябины. Помнил синие колокольчики на лесных полянах, восковые свечи ладанной любки, малиновые глазки-звездочки липкой смолянки и пушистые георгины, которыми убирают Животворящий Крест. И снеговые сугробы помнил,

вьюжные пути и ледяные навесы в соснах. Помнил гул осенних лесов, визг и скрип санный в полях и звонкий и гулкий, как колокол, голос мороза в бревнах. Весенние грозы в светлых полях и ласковую, милую с детства радугу.

Бедную церковь видел Илья за тысячи верст, и не манили его богатые, в небо тянувшиеся соборы. Закутку в церкви своей помнил Илья, побитую жестяную купель и выцелованные понизу дощатые иконы в полинялых лентах. Сумрачные лица смотрели за тысячи верст, лохматые головы не уходили из памяти. Ночью просыпался Илья после родного сна и тосковал в одиноких думах.

Два письма получил он от барина: требовал барин на работу. Тогда заколебался Илья: новая душа у него теперь, не сможет терпеть, что терпел и что терпят другие, темные. Откладывал день отъезда. Да еще раз позвал его старый Терминелли и смутил богатой работой: звал его на княжескую виллу, работать в паре.

Сказал строго:

– Ты, Илья, человек неблагодарный. Твою работу будет видеть король Неаполитанский! Ты сумасшедший парень, русский Илья! Я положу тебе тысячу лир в месяц! Подумай. Придет время, и я даю тебе слово: будешь писать портрет самого святейшего отца папы!.. Честь эта выпадает редко.

Смутилась душа Ильи, и сказал он:

– Дайте подумаю.

Тут случилось: сон увидел Илья.

Увидел Высоко-Владычней монастырь с садами, будто смотрит с горы, от леса. Выходит народ из монастыря с хоругвями. Тогда спустился Илья с горы, и пошел с народом, и пел пасхальное. Потом за старой иконой прошел в собор – и не стало народу. И увидел Илья с трепетом голые стены с осыпающейся на глазах известкой, кучи мусора на земле и гнезда икон – мерзость и запустение. Заплакал Илья и сказал в горе: «Господи, кто же это?» Но не получил ответа. Тогда поднял он лицо свое к Богу Саваофу и увидел на зыбкой дощечке незнаемого старца с кистью. Спросил его: «Кто так надругался над святыней?» Сказал старец: «Иди, Илья! Не надругался никто, а новую роспись делаем, по слову Господню». Тогда подумал Илья, что надо взять кисти и палитру и сказать, что надо Арефия на работу, а то мало... И запел радостно: «Красуйся, ликуй и радуйся!..»

И проснулся. Слышал, просыпаясь, как пел со слезами. И мокры были глаза его. Сказал твердо: домой поеду, было это мне вразумление.

И отказался от почетной работы.

А вечером пошел в маленькую старенькую церковку, на окраине, у мутного Тибра: чем-то она была похожа на его родную церковь. Часто выстаивал он там вечерню и любовался на стенное писание: «Последнее Воскресение». Стоял перед Богородицею в нише, тоскующий и смятенный, и вопрошал: надо ли ему ехать? И услышал восклицание: «Рах vobiscum!»

Слово это – мир вам! – принял Илья как отпуск. А как вышел из церкви, увидел хроменького старичка с ведерком и кистью, вспомнил отца и подумал: «Это мне указание».

Собрал нажитое, что было, и в конце марта месяца – стояла весна цветущая – тронулся в путь-дорогу на корабле. Вспомнил слово Арефия: «Плывать тебе, Илья, по большому морю!»

И укрепился.

VIII

В торговом городе, который назывался Генуя, сел Илья на большой корабль в парусах, – было у него имя – «Летеция»; значило это имя – радость. И в этом имени добрый знак уразумел Илья.

Товар радостный вез тот корабль: цветное венецианское стекло, тонкие кружева, бархат и шелк, инжир и сладкие финики, и целые горы ящиков с душистыми апельсинами. Черные греки и веселые итальянцы были на нем корабельщики и пели песни: радовались, что счастливый ветер. Полными парусами набирал корабль ветер, белой раздутой грудью, – только шипели волны. Сидел все дни на носу Илья – любовался морем, ловил глазами. Во многие гавани заходил корабль, чтобы взять товары: коринку, миндаль, бочки вина и пузатые кипы шерсти.

Радовался на все Илья и думал: сколько всего на свете! Сколько всяких людей и товаров – как звезд на небе. Сколько радости на земле! Думал: не случись доброго Арефия – и не знал бы. В радости светлой плыл он морями, под теплым солнцем, и, как в духовной работе, напевал незабываемое: «Красуйся, ликуй и радуйся, Иерусалиме!..»

У берегов греческих поднялась черная буря и стало швырять корабль, но не испугался Илья: как равный, стал помогать корабельщикам свертывать паруса и тянуть канаты. Работал – и не заметил, как пронесло бурю, и опять засияло солнце. Усталый, уснул Илья на горке сырых канатов и видел сон. Едет он на корабле мимо зеленого острова, стоит на носу, у якоря, и видит: плывут от острова к кораблю лодки под косыми красными парусами, а в лодках народ всякий. Стали подходить лодки, и увидал Илья, что не греки и не итальянцы, а свои, ляпуновские, всё: Спиридошка-повар, Панфил-шорник, конюх Андрон, бурмистр Козутоп Иваныч и другие. Плывут и машут. Тогда закричал Илья, чтобы опускали якорь. Загрохотал якорь...

Проснулся Илья и слышит, что опускают якорь. Пришел корабль в незнакомый город. Раздумался о своем сне Илья – какую картину видел! К чему бы это?

Вышел на пристань, смотрел, как турки, в красных обвязках по голове, таскали на корабль ящики с табаком и бочонки с оливковым маслом. Подивился их силе. Поразил его огромный турок в феске с кисточкой, с волосатыми руками: по три ящика взваливал себе на спину тот турок и весело посмеивался зубами. Был он за старшого, показалось Илье: ходил в голове всей цепи. И задрожало у Ильи сердце, крикнул он, не помня себя от радости:

– Панфил!! Панфил-шорник!!

Нес силач-турок на спине груды ящиков. Услыхал голос, выпрямился в свой рост, полетели ящики на землю и разбились о камни: посыпался из них сухой чернослив и синий изюм – кувшинный.

Радостно-нежданная была та встреча. Сказал Панфил, что ушел тогда из России к православным болгарам, работал на кукурузе, а вот другой год у турок товары грузит. Все лучше, чем в господской власти. И по-ихнему говорить умеет, и белого хлеба вволю.

Спрашивал Илья про Сафо-Соньку. Не знал про нее Панфил, пожалел:

– Свели ее куда в дом веселый. Девоч барских у нас много, от хорошей жизни.

Рассказал Панфил, что копит деньги, возьмет землю в аренду и думает жениться. Сказал:

– Жить, Илья, везде можно, лишь бы воля. А ты сам в кабалу лезешь.

Пообедал Илья с Панфилом, поел вареной баранины с чесноком на блине-чуреке и все дивился: совсем стал Панфил турком: табак курит из бумажки и пьет кофе. Сказал Панфил:

– Земля-то одна – Божья. Оставайся, Илья. Выдадут тебе настоящий турецкий паппорт.

Вспомнил Илья про сон, рассказал Панфилу. Задумался Панфил:

– Вот что... И тятеньку видал, значит. Может, поди, и помер... Скажи ему, жив я...

Отвези ему табаку настоящего, турецкого.

Вспомнил Илья Панфилова отца, старого кузнечного мастера Ивана Силу. Стал жалеть: старый Иван горюет. Заморгал Панфил, тронул кулаком глаз. Сказал глухо:

– Сам сны вижу. Ворочусь, когда будет воля.

Повел Илью на базар, купил в подарок отцу теплую рубаху и медную трубку.

– Скажи, что живу ладно, не пьянствую. А в кабалу не желаю.

Пошел корабль дальше. Стало Илье грустно от этой неожиданной встречи. Все думал: в турках живет Панфил – и доволен. И стало ему горько: совсем черной показалась ему жизнь, на которую добровольно едет. И еще подумал: нет, это все искушение мне, вот и буря пугала. Вечером помолился Илья на западающее солнце и укрепился.

Не было больше искушений.

Двадцать два года исполнилось Илье, когда вернулся он в Ляпуново.

IX

А в Ляпунове за это время многое изменилось. Сломали старую церковь и возвели новую, пошире, вывели широкий и низкий купол и поставили малый крест. И стала церковь похожа на каравай. Прежняя была лучше.

Помер маляр Терешка, и кузнец Иван Сила – сгорел от вина и горя: тосковал по сыну. Некому было отдать гостинцы. Помер и Спиридоша-повар, и конюх Андрон, и еще многие. Рад был Илья, что еще жива тетка Агафья.

Жил теперь Илья на скотном дворе, во флигельке, – на воле. Когда вернулся, призвал его на крыльцо барин и удивился:

– Ну, здравствуй, Илья. Тебя и не узнаешь! Будто барин... Стал ты красивый малый! Ну, спасибо.

Похвалил привезенную в подарок картину – «Препоясание апостола Петра», – давал за нее Илье триста лир содержатель таверны, – и приказал повесить в банкетной зале. Похвалил, что справил себе Илья хорошую одежду – сюртук табачного цвета, с бархатными бочками, жилет из голубого манчестера и серые клетчатые брюки.

– Теперь можешь показаться гостям с приятностью.

Похвалил и за разумное поведение:

– Так и думал: сопьется мой Илья с этими беспутными итальянцами! А ты вон какой оказался. Будь покоен, я твоих трудов не забуду. Стало мне твое обучение за тысячу серебра, вот и распишешь церковь. А там увидим.

Обед велел брать артельный и еще, как награду, отпустить с барского стола сладкое кушанье: привык, небось к разным макаронам!

А самая большая перемена была, что женился барин, и другой год, как родился у него наследник. Взял из Вышата-Темного, из рода господ Вышатовых, красавицу. Собиралась она после отцовой смерти в монастырь уйти, а барин тут и присватался. Узнал Илья, что молодая барыня тихая и ласковая, никогда от нее плохого слова не слышат. В своем Вышатове дом отдала мужикам под стариков и сирот, хоть и сердился барин. Рассказывали Илье, что и барин переменился: стал совсем тихий и ходит за барыней по нитке: все баловство бросил.

Вот что рассказывали Илье про эту женитьбу.

В самый тот год, как повез барин Илью в науку, приехал зимой неожиданно барин Вышатов из Питера с дочкою Настасьей Павловной и тут же наказал строго-настрого всем говорить, что пустой стоит дом, а его нет здесь и не было. Так целый год и таился, ни сам ни к кому не ездил, ни к себе не пускал. Ото всего хоронился. Все окошки позанавешал, все двери позаколотил и не выходил во двор даже. И барышню никуда не допускал. Только выйдет она по саду прогуляться, а он высунет голову в чердачок и кричит не своим голосом: «Ой, Настенька, воротись назад!» Кругом дома высокий забор с гвоздями приказал поставить, а на ворота тройные засовы с замчищами. Даже и в монастырь в самые большие праздники ни барышню не пускал, ни сам не ездил, хоть и совсем рядом. А разбойников все опасался! В окошки решетки железные вправил сам – не доверил людям. Вот раз и приехал к нему капитан-исправник по важному делу, какие-то деньги платить барину требовалось. Стал настоятельно стучать в ворота, а барин выскочил к нему с пистолетом, встал на ворота и кричит: «Можете убить меня, а не отдам кровь! Доложите пославшему!» Совсем как ума решил. Так и уехал капитан-исправник, не похлебал. А барин Вышатов всю ночь на пороге прокараулил. И другую ночь все караул у забора нес, а к утру подняли его без памяти на крыльце. Так и отошел без памяти. Хоронили в монастыре, барин Ляпунов все хлопоты на себя принял и сироту утешал.

Потом тетка приехала, хотела к себе везти, в город Пензу. А барин что ни день – в Вышатово. Будто бы даже на коленях перед сиротой становился, в грудь кулаком бил. «Вы, – гово-

рит, – сирота, и я сирота!» Вот так сирота! «Я, – говорит, – в пух вас буду пеленать-покоить!» Мундир свой военный вынул, саблю повесил – прямо и не узнать. Ну, конечно, тетка тут за него встала. По-французски говорить принялся, всех девок своих распустил, книжки почал возить для барышни... А она будто все не хотела. Был слух, что в Питере-то к ней сам великий князь сватался, ну, конечно, ей как обидно! А покорила. На четвертой неделе поста папенька помер, а к Покрову свадьбу справили.

Видел Илья, что переменялся барин: ходил уже не в халате, а в бархатном сюртуке-фраке малинового покроя, и духами от него пахло. Когда надевал власяницу, приказал всех лебедей порезать: «Это, – говорил, – язычники только лебедями занимаются». Теперь опять белые лебеди плавали на тихой воде прудов и кричали тоскливо в гулком парке.

Жил Илья на скотном дворе, во флигелечке. Не призывал его к себе барин. Ходил Илья смотреть церковь, прикидывал план работы. Старый иконостас стоял в ней, и смотрела она пустынно выбеленными стенами. Проверил Илья штукатурку: хорошо, гладко положена, ни бугорков, ни морщинки – только работай. Но не призывал барин. Стали посмеиваться над Ильей люди, говорили:

– Ишь ты, ба-рин! Подольстился к барину – бока належивает, морду себе нагуливает, марькизь вшивый! Мы тут сто потов спустили, а он по морям катался, картинками занимался.

Заходили к Илье, оглядывали стены.

– Картинками занимаешься. Ишь долю себе какую вымолил. В господа, что ль, выходишь? Просись, вольную тебе даст барин.

Говорил им Илья, затаив горечь:

– Обучался я там, чтобы расписать для вас церковь. Вот буду...

– Для барина. А для нас и старой было довольно.

– Нет, для вас. Для вас только и работал. Для вас вернулся, – говорил Илья с сердцем. – Остался бы там – не слыхал бы обидных слов ваших.

Не верили ему люди.

Захаживала к нему старая Агафья, тетка. Сокрушалась:

– Лучше бы ты, Илюшечка, там остался. А то что ж ты теперь – ни Богу свечка, ни этому кочережка. Смеются на тебя и девки. На какое же тебе положение выходит?

Молчал Илья. Принимался рассказывать старой Агафье про разные чудеса. Не верила Агафья.

Сердились на Илью девки: и не смотрит. Намекал бурмистр Козутоп тетке, что по сердцу он его дочке, выхлопочет у барина, возьмет к себе в дом зятем: слыхал бурмистр от самого барина, что теперь большие деньги может заработать Илья иконами.

И на это молчал Илья. Надевал свою шляпу-итальянку, ходил в парке, садился на берегу, вспоминал прошлое. А все не призывал барин. Тогда пошел Илья к барину, доложил через обученного камердинера Стефана.

Вышел на крыльцо барин, сказал, что забыл про церковную работу.

– Осмотришь церковь и изобразишь план работы. Потом доложишь.

Подавал Илья барину план работы. Повертел барин план работы, сказал, чтобы пустил Илья под куполом к престолу Господню впереди великомученицу Анастасию, а не первомученика Стефана, похвалил, что не забыл Илья преподобному Сергию положить видное место – Сергей был его ангел, – и сказал:

– Теперь знай работай.

И встал Илья на работу.

Х

Прошло лето, пошли осенние холода с дождями. Задымились риги, ударили морозы, и стала промерзать церковь. Пошел Илья доложить, что немеют пальцы и надо топить церковь, а то портит иней живописную работу. Стали прогревать церковь. Служились службы – мало кто смотрел на обставленные лесами стены. Часто наведывался Каплюга, пощелкивал языком, хвалил:

– По-новому, Илья, пишешь. Красиво, а строгости-то нету.

Говорил Илья:

– Старое было строгое. Радовать хочу вас, вот и пишу веселых. А будет и строгое... будет...

Обижался Каплюга: гордый стал Илья, иной раз даже и не ответит.

Заходил и барин, глядел написанное. Говорил:

– Важно! Самая итальянская работа. Ты, Илья, над Анастасией особо постарайся, для барыни.

– Для всех стараюсь... – говорил Илья, не оборачиваясь, – в работе.

Строго посмотрел барин и повторил строго:

– Я тебе говорю про Анастасию!

Не ответил Илья, стиснул зубы и еще быстрее заработал. Пожал барин плечами.

– Я тебе, глухому, говорю еще раз... про Анастасию!

Тут швырнул кисть Илья в ящик и сказал:

– Я пишу... и пишу по своей воле. Если моя работа не нравится, сударь, заставьте писать другого. А великомученицу Анастасию я напишу, как знаю!

Резко и твердо сказал Илья и твердо взглянул на барина. Усмехнулся барин. Сказал по-особенному:

– Научился говорить вольно?

Сказал Илья:

– В работе своей я волен. Волей своей вернулся – волей и работать буду. Прикажете бросить работу?

– Продолжай... – сказал барин.

И не приходил больше.

Другой год работал Илья бессменно.

Пришла и прошла весна, переломилось лето, и к Ильину дню, престолу, окончил Илья живописную работу. Пришел на крыльцо, сказал камердинеру Стефану:

– Доложи, что работу кончил.

Велел сказать ему барин:

– Придем завтра – посмотрим.

В церковь пошел Илья, разобрал подмости, встал на самую середину и любовно оглядел стены. Сказала ему душа – «Радуйся, Иерусалиме!» И сказала еще: «Плывать бы тебе, Илья, по большому морю!»

Не было ни души в церкви. Был тогда тихий вечер, и стрижи кружились у церкви. Сказал Илья:

– Кончена работа...

И стало ему грустно.

В цветах и винограде глядели со стен кроткие: Алексей – человек Божий и убогий Лазарь. Сторожили оружием – Михаил Архангел с мечом, Георгий с копьем и со щитом благоверный Александр Невский. Водружали Крест Веры и письма давали слепым Кирилл и Мефодий. Вдохновенно читали Писание Иван Златоуст, Григорий Богослов и Василий Великий. Глядели

и звали лаской Сергей и Савва. А грозный Илья-мужицкий, на высоте, молниями гремел в тучах. Шли под широким куполом к лучезарному престолу Господа святые мученики, мужи и жены – многое множество, – ступали по белым лилиям, под золотым виноградом...

Смотрел Илья, и больше радовалась душа его.

А над входом и по краям его – во всю стену – написал Илья Страшный последний суд, как в полюбившейся ему церковке у Тибра.

Шли в цепях сильные мира – к Смерти, а со светильниками-свечами, под золотым виноградом, радостно грядущие в Жизнь Вечную.

Шли – голы и босы – блаженные, страстотерпцы, нищие духом, плакавшие и смиренные. Шли они в разноязычной толпе несметной, и, затерявшись в веренице светлой, ведомые Илье: и маляр Терешка, и Спиридоша-повар, и утонувший в выгребной яме Архипка-плотник, и кривая Любка, и глупенькая Сафо-Сонька, и живописный мастер Арефий... многое множество.

Смотрел Илья, и еще больше радовалась душа его. И не было полной радости. Знал сокровенно он: нет живого огня, что сладостно опалает и возносит душу. Перебирал всю работу – и не мог вспомнить, чтобы полыхало сердце.

И чем дольше смотрел Илья – сильнее тосковала душа его: да где же сгорающая в великом огне душа? И думал в поднимающейся тоске – ужели для этого только покинул волю?

Всю ночь без сна провел он на жесткой койке у себя на скотном, и томили его сомнения. Говорило сердце: не для этой же работы воротился. На ранней заре поднялся Илья и пошел в церковь. Белый туман курился в низинах, по Проточку. Сел Илья на старый могильный камень, положил голову в руки и стал думать: ну, теперь кончена положенная от барина работа... для барина и работал...

И вот, как давно, в яблочном монастырском саду, в охватившей его тяжелой дремоте, сверкнуло перед ним яркой до боли пеной или кипящей водой на мельнице. Миг один вскинул Илья глазами – и в страхе и радости несказанной узнал глянувшие в него глаза. Были они в полнеба, светлые, как лучи зари, радостно опалаяющие душу. Таких ни у кого не бывает. На миг блеснули они тихой зарницей и погасли.

В трепете поднялся Илья, смотрел сквозь слезы в розовеющее над туманом небо – в потерянную радость:

– Господи... Твою красоту видел...

Понял тогда Илья: все, что вливалось в его глаза и душу, что обрадовало его во дни жизни, – вот красота Господня. Чувал Илья: все, чего и не видали глаза его, но что есть и вовеки будет, – вот красота Господня. В прозрачном и чутком сне, – видел он, – перекинулась радуга во все небо. Плыли в эти небесные ворота корабли под красными парусами, шумели морские бури; мерцали негасимые лампы-звезды; сверкали снега на неприступных горах; золотые кресты светились над лесными вершинами; грозы гремели, и наплывали из ушедших далей звуки величественного хора; и белые лилии в далеких садах, и тихие яблочные сады, облитые солнцем, и радость святой Цецилии, покинутой за морями...

В этот блеснувший миг понял Илья трепетным сердцем, как неистоцимо богат он и какою имеет силу. Почувал сердцем, что придет, должно прийти то, что радостно опалает душу.

XI

Выше подымалось солнце. Тогда пошел Илья и надел чистую рубаху – показывать господам работу. Пришел в церковь, и показалось ему, что сегодня праздник. Вышел на погост у церкви, увидел синий цикорий на могиле и посадил в петлицу. Вспомнил, как сдавал на виллах свою работу.

В самый полдень пришли господа осмотреть церковь.

В белом платье была новая госпожа – в первый раз видел ее Илья так близко. Юной и чистой, отроковицей показалась она ему. Белой невестой стояла она посреди церкви, с полевыми цветами. Радостный и смущенный смотрел Илья на ее маленькие ножки в белых туфлях: привык видеть только святые лики. Смотрел на нее Илья – и слышал, как бьется сердце.

Спросила она его, осветив глазами:

– А кто это?

Сказал Илья, оглядывая купол:

– Великомученица Анастасия Рымляныня, именуемая Прекрасная, показана в великом кругу мучений.

Она сказала:

– Это мой ангел...

И он ее вдруг увидел.

Увидел всю нежную красоту ее – радостные глаза-звезды, несбыточные, которых ни у кого нет, кроткие черты девственного лица, напомнившие ему его святую Цецилию, совсем розовый рот, детски полуоткрытый, и милое платье, падающее прямыми складками. Он стоял как в очаровании, не слышал, как спрашивает барин:

– А почему перед первоучителем все слепые?

Не Илья, а она сказала:

– Ведь они совсем темные... они еще ничего не знают.

Спросил барин:

– А почему у тебя, Илья, в рай идут больше убогие?

– А ведь правда! – сказала она и осветила глазами.

Показалось Илье, что она смотрит ласково, будто сама сказать хочет. Тогда прошло онемение, будто пути спали с Ильи, и сказал он вольно:

– По Священному Писанию так: «Легче верблюду пройти...» и «блаженни нищие духом...». Так трактовали: Карпаччио...

Но перебил барин:

– Знаю!

А она сказала, опять сияя:

– Мне это нравится... и нравится вся работа.

Как тихие голоса в органе был ее голос, как самая нежная музыка, которую когда-либо слышал Илья, были ее слова. Он, словно поднятый от земли, смотрел на это неземное лицо, лицо еще никем не написанной Мадонны, на ее неопределимые глаза, льющие радостное, казалось ему, сияние. Он не мог теперь отвести взгляда, все забыв, не слыша, что барин уже другой раз спрашивает:

– А почему у Ильи Пророка одежда, как у последнего нищего?

Сказал Илья на крикливый голос:

– Пророки не собирали себе сокровища на земле. Сказано в Книге Пророка...

И опять перебил барин:

– Знаю!

– Все здесь говорит сердцу... – сказала она и осветила глазами. – Вас благодарить надо.

Поклонился Илья стыдливо: были ее слова великой ему наградой. Сказал барин:

– Да, спасибо, Илья. Оправдал ты мое доверие.

И повел барыню. Стоял Илья как во сне, затих-затаился. Смотрел на то место, где стояла она, вся светлая. Увидел на полу полевую гвоздичку, которую она держала в руке, и поднял радостно. И весь день ходил как во сне, не здешний: о ней думал, о госпоже своей светлой. Весь этот будто праздничный день не находил себе места. Выходил на крылечко, смотрел вдоль аллеи парка.

Зашел Каплюга:

– Ты чего, Илья, нонче такой веселый? Похвалили твою работу?

– Да, – сказал Илья, – похвалили.

– Вольную должны дать тебе за такой подвиг... – сказал Каплюга.

Не слышал Илья: думал о госпоже светлой.

А вечером пришел на скотный двор камердинер и потребовал к барину:

– Велел барин в покои, без доклада.

В сладком трепете шел Илья: боялся и радовался ее увидеть. Но барин сидел один, пере-
кладывал на столе карты. Сказал барин:

– Вот что, Илья. Желает барыня икону своего ангела, великомученицы Анастасии. Уж постарайся.

– Постараюсь! – сказал Илья, счастливый.

Пошел не к себе, а бродил до глубокой ночи у тихих прудов, смотрел на падающие звезды и думал об Анастасии. Крадучись подходил к барскому дому, смотрел на черные окна. Окликнул его Дема-караульщик:

– Чего, марькизь, ходишь? Ай украсть чего хочешь?

Не было обидно Илье. Взял он за плечи горбатого Дему, потряс братски и посмеялся, вспомнил:

– Дема ты Дема – не все у тебя дома, на спине хором!

Постучал колотушкой, отдал и поцеловал Дему в беззубый рот.

– Не сердись, Дема-братик!

И пошел парком, не зная, что с собой делать. Опять к прудам вышел, спугнул лебедей у каменного причала: спали они, завернув шеи. Поглядел, как размахнулись они в ночную воду. Ходил и ходил по росе, отыскивал в опаленном сердце желанный облик великомученицы Анастасии.

И нашел к утру.

XII

Неделю горела душа Ильи, когда писал он образ великомученицы Анастасии. Не уставно писал, а дал ей белую лилию в ручку, как у святой Цецилии в Миланском соборе.

Смотрела Анастасия, как живая. Дал ей Илья глаза далекого моря и снежный блеск белому покрову – девство. Радостно Илье стало: все дни смотрела она на него кротко.

Зашли господа посмотреть работу. Удивился барин, что готова. Не смея взглянуть, подал Илья своей госпоже икону.

– Как чудесно! – сказала она и по-детски сложила руки. – Это чудо!

Вбирал Илья в свою душу небывающие глаза-звезды.

Сказал барин:

– Теперь вижу, ты, Илья, – мастер заправский. Говори, что тебе дать в награду?

Увидал Илья, как она на него смотрит, и сказал:

– Больше ничего не надо.

Не понял барин, спросил:

– Не было от меня тебе никакой награды... а ты говоришь, чудак, – больше не надо!

Смотрел Илья на госпожу свою, на ее бледные маленькие руки. Все жилки принял в себя, все бледно-розовые ноготки на пальцах. И темные, бархатные брови принял, темные радуги над бездонным морем, и синие звезды, которые не встречал ни на одной картине по галереям. Вливал в себя неземное, чего никогда не бывает в жизни.

– Вы здесь и живете? – спросила она глазами.

Поднял Илья глаза. Сказал:

– Да. Здесь хорошо работать.

Удивился на него барин: чего это отвечает? А она осматривала почерневшие стены с вылезавшей паклей и повешенные работы.

Увидела цветочницу, маленькую Люческу... Спросила:

– А кто эта? какая миленькая девушка.

Вспыхнул Илья под ее взглядом. Сказал смущенно:

– Так... цветы продавала у собора...

Посмеялся барин:

– Тихоня, а... тоже!

Толкнуло Илью в сердце. Не помня себя, рванул он холстик и подал ей:

– Нравится вам... возьмите, барыня.

В первый раз назвал ее так; потом, когда вспоминал все это, краснел-думал: не для нее это слово, для нее – обида.

Она посмотрела, будто залила светом:

– Оставьте у себя. Мне не надо.

Все краски и все листы пересмотрела она. Увидела мученика, прекрасного юношу Себастиана в стрелах, – смотрела, будто молилась. И Илья молился – пресветлому открывшемуся в ней лику. Говорила она – пение слышал он. Обращала к нему глаза – сладостная мука томила душу Ильи.

Ушла она, и осталась мука сильнее смерти. Упал Илья на колючий войлок, жесткое свое ложе, сдал зубы и облился слезами. Говорил в столах:

– Господи... на великую муку послано мне испытание! Знаю, не увижу покоя. И нет у меня жизни...

Так пролежал до вечера в сладкой муке. А к вечеру пришли от двора двое – Лукавый и казачок Спирька Быстрый – и принесли деревянную кровать на кривых ножках, два стула, тюфяк из морской травы и пузатую этажерку. Сказал Спирька:

– Так, Илья Терентьич, сама барыня приказала.

А Лукавый Лука прибавил:

– У него, говорит, не комната, а конура собачья! Плывет тебе счастье, Илья. Маслена коту настала. До мяконькова добрался. Поженишься – гляди, и подушку вылежишь с одеялом.

Потрогали пальцами картинки, посмеялись над барином:

– Псалтырем ты его зачитал, Илья, – образами накроешь.

Не сказал им Илья ни одного слова. Остался стоять, закрыл руками лицо, повторяя мыслями:

«Сама... барыня... приказала...»

Смотрел в темноту ночи – и видел ее, светлую госпожу свою. Менялось ее лицо, и смотрела из темноты великомученица, прекрасная Анастасия. И она менялась, и светились несбыточные глаза – два солнца. В сладкой радости-муке упал Илья на колени, припал губами к старому полу, где она стояла, и целовал доски. Всю ночь метался Илья по своей каморке, выходил на крыльцо, слушал, как стрекочут кругом кузнечики в деревьях, как оставшиеся за морем цикады. Спрашивал темноту-тоску:

– Что же?!

Стало светать. Взглянул Илья на присланную кровать – не лег. Жутко было ложиться на посланное ею, будто совершишь святотатство. Лег на войлок и заснул крепко. Проснулся – только-только подымалось за прудами солнце. Пошел на плотину, прошел дальше, к Проточку. Пошел дальше, по монастырской дороге. Лесом шел – пел. Охватывала его радостно тишь лесная. Отозвалось в светлом утре, в чвоканье и посвисте красногузых дятлов и в гулком эхе разгульное. И запел Илья гулевою-лесовую песню:

...Одну-ю и выюжина не берет!
Вьюжина да метелюга не метет!

Радость неудержимая закрутила Илью. Бил он палкой по гулким соснам и пел. И по сторонам отзывалось гулко и далеко:

Ай, вьюга-метелюга, заметай!..

Кончился лес – и увидел Илья белый монастырь над Нырлей, с золочеными главами-репами. Стал Илья на бугре и смотрел жадным, берущим взглядом. На белый простен собора смотрел – на полдень. Свистнул и пошел в монастырь. Сказал казначею:

– Хочу расписать вам стену на полдень – Георгия со Змеем. Хлопочите у барина, а я хоть завтра.

Обрадовалась казначея: знала, как благолепно Илья расписал церковь в Ляпунове.

А через месяц молодой Георгий на белом коне победно разил поганого Змея в броне, с головой как бы человека. Дивно прекрасен был юный Георгий – не мужеского и не женского лица, а как ангел в образе человека, с бледным ликом и синими глазами-звездами. Так был прекрасен, что послушницы подолгу простаивали у той стены и стали видеть во сне... И пошло молвой по округе, что на монастырской стене – живой Георгий и даже движет глазами.

ХІІІ

Опять не стало у Ильи работы.

Словно что потерявший, ходил он по аллеям парка в своей итальянской шляпе. Смотрел на небо, на осыпающиеся листья. Сквозило в парке, и ясней забелел теперь длинный господский дом, где по вечерам играли на фортепьянах. Обходил Илья главную аллею.

В красном закате плыли величавые лебеди – розово-золотые в солнце. Отзывался пустынный их крик в парке.

Лебедей рисовал Илья, и осенний остров, и всегда пустую липовую аллею с желтыми ворохами листьев. Каменные плотины писал Илья – вверху и внизу, с черными жерлами истоков. Все было обвеяно печалью.

С тоской думал Илья: вот и зима идет, снегом завалит, и пойдут долгие ночи. Вот уже и птиц не стало, летят гуси за солнцем. Слушал, как посвистывают осеннички-синицы.

Редко выпадало счастье, когда в барском доме играли на фортепьянах.

Слышал Илья – опять заскучал барин. Говорили, будто ездить начал на хутор, где жили «на полотнянке» девки. И не верил.

Сидел раз Илья у каменного причала, зарисовывал от нечего делать: нарисовал мосточки и одинокую лодку: о своей судьбе думал. А что же дальше? И стало ему до боли тоскливо, что не остался у Терминелли. Старые камни вспомнил, белые дороги, веселые лица, соборы, радостные песни и тихую маленькую Люческу с цветами. Подумал: там бы и жил, и работал. И Панфила с ящиками вспомнил, как ели баранину и сидели у моря, свесив ноги. «Выправил бы себе настоящий турецкий пачпорт!» В тоске думал Илья: расписал им церковь, а никому и не нужно. Верно, что и старой было довольно. Да, верно: ни Богу свечка, ни этому кочережка!

Навалилась тоска, и в этой тоске нашел Илья выход: просить барина назначить откуп.

Тут Илья услышал шелест и оглянулся. На широкой аллее к дому стояла она белым видением, в косом солнце, держала за ошейник любимую белую борзую. Встал Илья и поклонился.

Она сказала:

– Здравствуйте, Илья...

Голос ее показался Илье печальным. Он стоял, не зная, что ему делать – пойти или так остаться. И она стояла на желтых листьях, поглаживая борзую. С минуту так постояли они оба, не раз встречаясь глазами. Как на солнце, смотрел Илья, как на красоту, сошедшую с неба, смотрел, затаив дыхание.

– Вы скучаете, милый Илья... Теперь у вас нет работы?..

– Да, у меня нет работы... – сказал Илья, перебирая поля шляпы.

Тогда она подошла ближе и сказала тихо:

– Я понимаю, Илья... Вы должны получить волю.

Вскинул глаза Илья, обнял ее глазами и сказал с болью:

– Зачем мне воля?!

Взглянул на нее Илья – один миг, – и сказал этот взгляд его больше, чем скажет слово. Долгим, глубоким взглядом сказала она ему, и увидел он в нем и смущенье, и сожаление, и еще что-то... Радость? Словно она в первый раз узнала и поняла его, юношески прекрасного, с нежно ласкающими глазами, которые влекли к нему девушек за морями. Смело, как никогда раньше, посмотрел на нее Илья захотевшими жить глазами.

Миг один смотрел Илья на нее и опустил глаза, и она только миг сказала, что знает это. Опять услышал Илья шелест листьев, увидел, как мягко играет белое ее платье и маленькая рука тянет ошейник порывающейся борзой. Смотрел – и в движении ее видел, что она о нем думает. Смотрел вслед ей, пока не повернула она в крестовую аллею. Думал: оглянется? Если бы оглянулась!

Не оглянулась она.

XIV

На Рождество Богородицы пошел в монастырь Илья, как ходил в прежнее время. Всегда была ему от монастыря радость. Пошел барином: надел серые брюки в клетку, жилет из голубого манчестера и сюртук табачного цвета, с бархатными бочками. Остановился на плотине, увидел себя в светлой воде и усмехнулся – вот он, маркиз-то!

Раскинулась под монастырем знакомая ярмарка. Подмонастырняя луговина и торговая площадь села Рождествина зачернела народом. Торговали по балаганам наезжие торгаша китайкой и кумачом, цветастыми платками и пропуск Медом, имбирем и мятой пахло сладко от белых ящичков со сладким товаром: всякими пряниками – петухами и рыбками, сухим черносливом, изюмом и шепталой кавказской, яблочной пастилой и ореховым жмыхом. Селом стояли воза с желтой и синей репой, мытой и алой морковью, с лесным новым орехом и вымоченным горохом. Наклали мужики лесовые белые горы саней и корыт, капустных и огуречных кадок, лопат, грабель, борон и веселого свежего щепного товару. Под белые стены подобрались яблоники с возами вошеной желтой антоновки и яркого аниса с барских садов. К кабакам и трактирам понавели на коновязи, к навозу, лошадей с заводов, и бродячий цыганский табор стучал по медным тазам и сверкал глазами и серебром в пестрой рвани.

Ходил и смотрел Илья, вспоминал, как бывало в детстве. И теперь то же было. Яркой фольгой и лаком резал глаз торговый «святой» товар из-под Холуя, рядками смотрели все одинаковые: Миколы, Казанские, Рождества – самые ходовые бога.

С улыбкой глядел Илья на строгие лики, одетые розовыми веночками, и вспоминал радостного Арефия. Купил синей и желтой репы, вспомнил, как обдирал зубами, – не приходила былая радость. Купил «кузнецов» любимых – мужика с медведем, пощелкал и подарил жадно глядевшему на него ротастому мальчишке. Был и за крестным ходом, смотрел, как пролезали под чтимую икону старики, бабы и девушки, валились на грязь с ребятами, давили пальцы. Смотрел на взывающие деревянные и натуженные лица и вздрагивающие губы. Слушал тяжкие вздохи, стоны и выкрики, ругань и пугающие голоса: «Батюшки, задавили!»

Видел «пьяный долок», под монастырской стеной, куда, для порядка, дотаскивали упившихся и укладывали в лопухи. Все тот же лысый давний старик сидел на пеньке, с багровой шишкой у глаза, – стерег-оберегал пьяниц и получал грошики.

Видел Илья у монастырских ворот – под завешанными, всегда урожайными рябинами – городок Божий: сидела рядами всякая калечь, гнусила, ныла, показывала свои язвы и изъязны и жалобила богомольных. Узнал Илья Петьку Паршивого, с вывернутыми кровяными веками, и Гусака, который испугал его в детстве: не говорил Гусак, а шипел, вытягивал длинную, в руку, шею. С болью и отвращением проходил Илья мимо «Божьего городка», а ему вслед тянули: «Ба-а-рин, милостинку подай, ба-а-рин...»

Барином называли Илью торговцы, а знакомые мужики с завистью и усмешкой говорили: – Маркизю почет! Может, лошадку купить желательно?

Останавливали Илью гулящие девки в ярких сарафанах, с платочками, запавшими на затылок, – смеялись:

– Илюша-милюша... румяный мальчик, пойдем в сарайчик!

Хмельные они были, казенные и барские солдатки с большого тракта, ходили цветастой гулевой стайкой, наяривали заезжих. Бегали за ними подростки, подергивали за накрахмаленные сарафаны и дразнились. Отплевывались от них бабы, а мужики хмуро сторонились. Помнил Илья двух из них – Лизутку Мачихину с казенного села Мытки и Ясную Пашу.

А теперь были новые, и все приставали к нему и называли Илюшей. Польшало от них на Илью соблазном.

И про них думал Илья – несчастные. И про калечь, и про «пьяный долок». Не облегчила ему тоски ярмарка. Отошел Илья на бугорок, повыше, где сворачивают от лесу, и смотрел на луговину и навозную площадь, по которой все еще носили почитаемую икону. Вспомнилось ему, как за морями носили на палках белые статуи, шли чинно монахи, опоясанные веревками, и выпускались – взлетали белые голуби... И пожалел, зачем не остался там: там светлее.

Подошла к нему старая грязная цыганка-ведьма. Запела:

– Сушит тебя любовь, красавчик-корольчик... Дай, счастлив, на руку, скажу правду.

Дал ей Илья пятак, чтобы отвязалась. Сказала цыганка:

– Краля твоя тоскует, милого во сне целует. Делать тебе нечева, погоди до вечера.

И пошла, позванивая полтинками.

Собирался Илья идти домой, на свою скуку. Уже поднялся – услышал за собой на мосточке топот и визгливый окрик на лошадей мальчика-форейтора: вскачь пронеслась сыпучими песками господская синяя коляска. Узнал Илья, и захолонуло сердце: в голубой шляпе с лентами, с букетом осенних цветов – георгин, бархатцев и душистого горошка – одна сидела в ней его молодая госпожа; везла цветы для иконы. Следил Илья за голубым пятнышком, двигавшимся между белыми ворохами саней и телег с репой, пока не проехала коляска монастырские ворота. Как раз ударили к поздней обедне и понесли с площади икону.

Три часа просидел Илья на мосточке, у дороги. Пестрела перед глазами ярмарка кумачом, чернотой и свежими ворохами на солнце, а голубое пятнышко не пропадало – осталось в глазах, как кусочек открывшегося неба. «Светлая моя, – говорил Илья к монастырским стенам, – радостная моя!» Словами, которые только знал, называл ее, как безумный, кроме нее уже ничего не видя. Сладким ядом поил себя, вызывая ее глаза, пил из них светлую ее душу и опьянялся. До слез, до боли вызывал ее в мыслях и целовал втайне. Три часа, томясь сладко, прождал Илья у дороги.

И вот, когда увидел, что выехала из монастырских ворот синяя коляска, с краснорукавым кучером Якимом и радостным голубым пятнышком, сошел с дороги и схоронился в кусты орешника на опушке. Через просветик жадно следил, как вползала коляска по сыпучему косогору, как полулежала на подушках его молодая госпожа, глядела в небо. Жадно глядел Илья на нее, бесценную свою радость, и лобызал глазами. Тихо проползала коляска песками, совсем близко. Даже темную родинку видел Илья на шее, даже полуопущенные выгнутые ресницы, даже поднимающиеся от дыхания на груди ленты и детские губки. Как божество, провожал Илья взглядом поскрипывающую по песку синюю коляску, теряющуюся в соснах. Вышел на дорогу, смотрел на осыпавшийся след на песке и слушал, как постукивают на корнях колеса.

XV

Спать собирался Илья ложиться, нечего было делать, – ночь темная. Пошел дождь, зашумело лесом. Тут постучали в окошко; пришел Спирька Быстрый, сказал, что требует к себе барин. Всколыхнуло Илью – обрадовало и испугало.

Сидели господа в спальней, у камина, грелись. Полыхала Львиная Пасть-морда сосновыми дровами. Красным огнем полыхали стены, и розовая была широкая пышная постель под атласным покрывом. Пушистый красный ковер увидел Илья, букетами, старинный, самый тот, что был при цыганке. Остановился у дверей, в коридоре, постеснялся войти. Но барин позвал его из коридора:

– Только оботри ноги!

Вошел Илья и остановился у двери. Барин сидел в глубоком кожаном кресле и похрустывал белою кочерыжкой: лежали они грудкой на тарелке. А госпожа лежала на покатам бархатном кресле и грела ноги. Красные, золотом вышитые шлепанки-туфли сперва увидел Илья в ярком свете, на стеганой подставке. Потом увидел тонкие розовые чулочки и бело-золотистый, словно из парчи, халатик в лентах; потом розовые тонкие руки в коленях, пышные косы, кинутые на грудь, и лицо. Устало смотрела она в огонь – дремала. Сон прекрасный видел Илья: сказочную царевну.

Молча поклонился Илья к камину. Сказал барин:

– Вот что, Илья... Слышал я, что думаешь откупаться?

Хотел было Илья сказать, но барин показал пальцем – слушай.

– Сам понимаю, что тебе трудно. Какая у меня тебе работа? И потом... барыня за тебя просила...

Молча, чтобы не дрожал голос, поклонился Илья, почувствовал, как накапливают слезы. Неотрывно смотрел на тихое бледное розовеющее лицо, как у спящей. И вот дрогнули темные ресницы и поднялись. Новые глаза, темные от огня, взглянули на Илью, коснулись его нежно и опять закрылись.

– Вольную ты получишь. Видела барыня сегодня в монастыре твою работу, Георгия Победоносца... Понравилось ей. Говорит, лицо необыкновенное...

Неотрывно смотрел Илья на светлую госпожу свою. Все так же она лежала, и от полыхающего огня словно вздрагивали ее ресницы. А как сказал барин, что лицо необыкновенное, опять увидел Илья: поднялись ресницы и она смотрит. Радостно-благодарящий был этот взгляд, ласкающий и теплый. Похолодел и замер Илья и опустил глаза на огонь.

А она сказала:

– Вы, Илья, удивительно пишете. И вот у меня к вам просьба...

Вздрагнул Илья от ее голоса, но сказал барин:

– Просьба не просьба, а... постарайся напоследок... Барыня желает, чтобы написал ты ее портрет... Можешь?

Сразу не мог ответить Илья, но собрал силы и сказал чуть слышно:

– Постараюсь...

Сам слышал – будто не его голос. Посмотрел барин на Илью:

– Так вот. Можешь?

И она сказала:

– Видите, Илья... Я хочу, чтобы...

Но ее перебил барин:

– Так вот. Можешь?

В жар кинуло Илью, что перебил барин. Стояло в комнате живое, ее, слово: «Я хочу, чтобы...» Чего она хотела?!

И сказал Илья твердо:

– Могу.

И посмотрел на нее свободно, как недавно, в парке. Упали путы с души, и почувствовал он себя вольным и сильным. Спросил смело:

– Завтра начать можно?

Порешили на завтра. Сказал Илья:

– Буду писать в банкетной, на полном свете.

Взглянул на нее и еще смелее сказал:

– У госпожи бледное лицо. Для жизни лица лучше темное одеяние, черное или морского тона...

Ее лицо осветилось, и она сказала:

– Я так и хотела.

И удивился Илья – вмиг она стала совсем другая, еще прекрасней.

Нашел Илья силу принять великое испытание. Шел под дождем на скотный, нес ее светлый взгляд и повторял в дрожи, ломая себе пальцы:

– Напишу тебя, не бывшая никогда! И будешь!

XVI

С того часу начались для Ильи сладостные мучения, светло опаляющие душу.

Всю ночь не смыкал он глаз. В трепете и томлении ходил он в тесной своей клетушке и то становился в углу перед иконкой, старой, черной, без лика, после отца оставшейся, и сжимал руки; то смотрел в темные стены, отыскивая что-то далекое, чему и имени не было, но что было; то торопливо промывал кисти, готовил краски и отчищал палитру. Вынул надежный холст, ватиканский, верный, и закрепил на подрамник. И то обнимал его страх темный, то радость безмерная замирала в сердце.

Только перед рассветом забылся он в чутком сне и вскочил на постукиванье в окошко. Но не было никого за окошком: дождь стучался. Сердито глядел Илья на небо – тучи-тучи. Но к утру подуло ветром, и сплыли тучи. Пошел Илья в дом при солнце.

Бледный, с горячими глазами, дрожащими руками, готовился Илья к работе в банкетной зале. Боялся ее увидеть. Но напрасна была его тревога. Вышла молодая госпожа и сказала приветливо:

– Здравствуйте, милый Илья. Что с вами? не больны вы?..

Поклонился Илья, сказал невнятно и начал свою работу. Взглядом одним окинул милое черное платье, стыдливые худенькие плечи и будто утончившееся со вчерашнего дня лицо с тенями. Новое сияние глаз увидел Илья, как сияние моря в ветре, – сияние тихой грусти. Подумал: другие глаза стали. И стали они другие, когда стал бросать углем, – менялись: радостные они были. Она спросила:

– Надо сидеть покойно?

Но не слышал Илья слов, и она спросила еще. Он ответил:

– Нет, пожалуйста, говорите...

Дрожал его голос и рука с углем. Теперь он неотрывно глядел в лицо ее, вырванное из жизни и отданное ему – ему только. Теперь он пил неустанно из ее менявшихся глаз, первых глаз, которые так сияли. Тысячи глаз видел он на полотнах по галереям, любовно взятых у жизни, но таких не было ни у одной Мадонны. Необъятность видел Илья в темнеющей глубине их – необъятность святого света. Не мог он назвать, что видел. Радость? Но и печаль, светлую грусть в них чувал Илья, и была эта грусть прекрасна. Небывающую красоту, все, что должно бы быть и осветить жизнь и чего не было в жизни, видел Илья.

Пришел барин, сказал: довольно, пора обедать.

День за днем потянулась эта радостно опаляющая душу пытка. Не жил эти дни Илья, не прикасался к пище, и только кусок хлеба и кружка воды поддерживали его силы. Она приходила к нему в коротком тревожном сне, меняющаяся: то в пурпуре великомученицы Варвары, то в светлой одежде святой Цецилии, то в одеянии Рубенсовской Мадонны. Приникала к нему во сне полуобнаженная, в пышных тканях прекрасной венецианки, то манила его в аллеях, то лежала раскинутой на греховном ложе. В сладострастной истоме пил Илья ее любовь по ночам – бесплотную, и приходил к ней, не смея взглянуть на чистую.

Спрашивала она с тревогой:

– Милый Илья, что с вами? вы устали?

Говорил Илья с болью – за ее тревогу:

– Я здоров, что вы...

Он уже не смотрел на менявшееся лицо ее. Знал его, новое, и ее, созданное ночами.

Спрашивала она – он вздрагивал от ее голоса. Говорил – и не помнил. Отвечал – и не понимал.

Но бывали минуты, когда он складывал перед нею руки и смотрел, забывая все. Бывали еще мгновения, когда обнимал он ее всю взглядом, прорвавшуюся в глаза страстью. Она отводила взгляд, прятала шею и собирала плечи. Он приходил в себя и бросал работу.

Ночью безумствовал Илья в своей клетушке. Он молитвенно складывал руки перед ее – новым – ликом, падал перед ним на колени и ласкал словами. А только вливалось утро – вкладывал новое, озарившее его ночью.

Был это лик нездешний. Не холст взял Илья, а, озаренный опаляющей душу силой, взял заготовленную для церковной работы доску. Иной смотрела она, радость неиспиваемая, претворенная его мукой. Защитой светлой явилась она ему, оплотом от покорявшей его плотской силы. Девственно чистой рождалась она в ночах – святая.

Все, что когда-то узнал Илья: радости и страдания, земля и небо и что на них; жизнь в потемках и та, далекая, за морями; все, что вливалось в душу, – творило в Илье этот второй образ.

Силой, что дали Илье зарницы Бога, небывающие глаза – в полнеба; озаряющие зарницы, что открылись ему в тиши рассвета и радостно опалили душу: силой этой творился ее неземной облик. Небо, земля и море, тоска ночная и боли жизни, все, чем жил он, – все влил Илья в этот чудесный облик. Стояло в глазах – и не могло излиться. Огромное было в глазах, как безмерная самая короткая жизнь даже незаметного человека.

Две их было: в черном платье, с ее лицом и радостно плещущими глазами, трепетная и желанная, – и другая, которая умереть не может.

И вот на двадцатый день кончил Илья работу. Сказал госпоже своей:

– Вот, кончена моя работа...

И ему стало больно.

А она, радостная, сложила по-детски руки, смотрела и говорила:

– Какая прекрасная... я ли это?!

Не было барина – уехал на охоту. Илья стал собирать кисти.

Она сказала:

– Илья... это вы сделали для меня, я знаю. Я хотела иметь вашу работу. Она сохранит меня для моего ребенка...

И тут увидел Илья, как ее глаза потемнели скорбью и горько сложились губы. Словами сказал:

– Сладко было мне писать ваш образ!

А взглядом сказал другое. Робко взглянула она. Этот взгляд принял Илья в награду.

XVII

Вернулся барин с охоты – а говорили, что и с «полотнянки», – выполнил обещание. Получил Илья волю по законной бумаге. Спрашивали Илью дворовые:

– Куда же ты определишь себя, Илья?

И удивлялись, что не думает Илья ехать на вольную работу. Иные говорили:

– Тепло ему сидеть на нашей шее!

Говорил им Каплюга:

– Дураки вы, дубье! Да вам его чтить как надо! Взял, один, такой труд на себя, расписал вам церкву! Два года почитай работал! А вы: тепло ему на нашей шее!

Не хотел Илья никуда ехать. Осень – куда поедешь! Пошел к барину – спасибо, сказал, за волю. Попросил, не разрешит ли пока до весны остаться. Разрешил барин:

– Живи, Илья, хоть до смерти! Это твое право.

Подивился Илья: стал ему носить Спирька Быстрый барское кушанье.

Спросил Спирьку:

– Скажи, кто приказал тебе кушанье мне носить?

Ухмыльнулся Спирька:

– А барыня так наказала.

Помялся-потоптался и прибавил:

– А барин опять к девкам своим уехал. Барыня-то, никак, больно скучает...

Сладко заныло сердце Ильи. Пошел в парк, бродил по шумящим листьям, смотрел к сквозившему через облетевшие кусты дому. Неделию все ходил, ждал встретить. Шли дожди. Плохо стало Илье: надорвала ли его сжигающая работа, или пришел давно подбирившийся недуг, – слабеть стал Илья, и не оставлял его кашель. А раз принес обед Спирька, смотрит – сидит Илья перед жаркой печкой в тулупе. Сказал Илья:

– Съешь за меня, Спирия...

А наутро забелело за окнами: выпал снежок в морозце. Обрадовался Илья зиме: приносит зима здоровье. Стал он прибираться в комнатке и слышит: стучат каблучки на порожке. Оглянулся Илья к окошку – и схватился за сердце: она, молодая госпожа его, стояла на крылечке в белой шубке, в белой на голове шелковой шали, новая.

– Вот и пришла к вам в гости, Илья! – сказала она, озаряя глазами. – Вы заболели?.. Пришла поблагодарить вас за работу... забыла.

И она, ласковая, протянула ему руку. Закружилось и потемнело у Ильи в глазах, схватил он маленькую ее руку, жадно припал губами, пал перед нею, своей царицей, на колени, осыпал безумными поцелуями ее заснеженные ноги, плакал...

Она смотрела на Илью в страхе и не отнимала руку. Вспоминал Илья, что страх был в глазах ее, и нежность, и боль непередаваемая, и еще, что он так и не назвал словом. Шептала она в страхе:

– Что вы... милый... встаньте...

Но он обнял ее тонкие колени и называл – не помнил. И увидел Илья новое лицо: огнем вспыхнуло бледное лицо ее, и пробежало синим огнем в глазах; и губы ее помнил, ее новый рот, потерявший девственные черты и жаркий.

Только один миг было. Твердо взглянула она и сказала твердо:

– Илья, не надо.

И торопливо вышла. Видел Илья слезы в ее глазах. Был этот день последним счастливым днем его жизни – самым ярким.

Стал Илья доживать дни свои: немного их оставалось. Лежал от слабости днями и вспоминал трудную жизнь свою. И подумал: «Мне жить недолго; пусть она, светлая госпожа моя, узнает про жизнь мою и про мою любовь все». Взял тетрадь и начал писать о своей жизни.

К весне услышал Илья, что родилась у барыни дочь, а барин другую неделю пропадает на охоте. Пришла навестить тетка Агафья и сказала Илье, что барыня с полгода будто не живет с барином, «не спит, сказать прямо», а перебралась в дедовскую половину. Узнал и еще Илья, будто застала барыня свою горничную Анюту с барином в спальне.

Понял тогда Илья многое, и скорбью залило душу его. А через два дня – поразило его как громом: барыня скончалась.

Он едва мог ходить, но собрал силы и пришел проститься. Новую увидел Илья светлую госпожу свою, прекраснейшую во сне последнем. Дал, как и все, последнее целование.

После погребения праха новопреставленной Анастасии пришел Илья к барину, сказал:

– Хочу расписать усыпальницу.

Уныло взглянул на него барин и сказал уныло:

– Да, плохо, Илья, вышло. И ты захирел... Ну, пиши...

Две недели работал Илья в холодном и сыром склепе, писал ангела смерти, перегнувшегося по своду, с черными крыльями и каменным ликом, с суровыми очами, в которых стояли слезы. Склонялся этот суровый ангел над изголовьем могилы Анастасии. Под черный бархат расписал Илья своды и написал живые белые лилии – цветы прекрасной страны.

Кончив работу, самую тяжкую из работ своих, слег Илья и не подымался больше. Пришел его навестить Каплюга. Сказал ему Илья:

– Вот, умираю. Сходи в монастырь, Анисьич... дай знать. Привези на своей лошадке духовника обительского, у него исповедался... еромонаха Сергия. Не доберусь сам.

Исполнил Каплюга последнее желание Ильи: сам привез иеромонаха. Пробыл иеромонах Сергей один на один с Ильей с час времени, потом вызвал дьячка, старуху Агафью и скотника убогого Степашку – как свидетели будут, – при всех объявил Илья: монастырю оставляет образ «Неупиваемая Чаша». И тут в первый раз увидел Каплюга икону, завешенную новой холстиной. Приказал Илья снять покрывало, и увидели все Святую с золотой чашей. Лик Богоматери был у нее – дивно прекрасный! – снежно-белый убрус, осыпанный играющими жемчугами и бирюзой, и «поражающие» – показалось дьячку – глаза. Подивился Каплюга, почему без Младенца писана, не уставно, но смотрел и не мог отвести взора. И совсем убогий, полунемой, кривоногий скотник Степашка смотрел и сказал – радостная.

Умер Илья теплой весенней ночью. Слышал через отворенное окошко, как поет соловей в парке, к прудам. Слушал Илья и думал – поет на островке, в черемухе. Приняли последний вздох Ильи тетка Агафья и старик Степашка.

Рассказывала Каплюге старая Агафья:

– «Скажи, – говорит, – тетенька Агаша, будто соловей поет, слышно?» «Поет, – говорю, – Илюша». «А где ж он поет, тетенька... на прудах?» «На прудах, – говорю, – на островку». «На островку?» – говорит. «На островку, – говорю, – Илюшечка». А потом подремал... «Тетенька Агаша... ты, – говорит, – все себе бери, имяе мое... родней тебя нету...» А потом Степашку увидел. «Дяде Степану дай чего, тетенька Агаша... тулуп отдай...»

Приняли они, двое убогих, последний вздох Ильи, тихо отошедшего. Тихо его похоронили, и приказал барин положить на его могилу большой валун-камень и выбить на нем слова.

Умер Илья – и забыли его. Травой заросла могила его на северной стороне церкви, осел камень и стал обрастать мхом. Стало и его не видно в густой траве.

XVIII

Принял монастырь Ильину икону – Неупиваемая Чаша – дар посмертный. Дивились настоятельница и старые: знал хорошо Илья уставное ликописание, а живописал Пречистую с чашей, как мученицу, и без Младенца. И смущение было в душах их. Но иеромонах Сергей сказал:

– Чаша сия и есть Младенец. Писали древние христиане знаком: писали Рыбу, и Дверь, и Лозу Виноградную – знамение, сокровенное от злых.

Тогда порешили соборне освятить ту икону, но не ставить в церкви, а в обительскую трапезную палату. И когда трапезовали сестры, радостно смотрели на икону и не могли насмотреться.

По малу времени стали шептаться сестры, что является им во сне та икона – Неупиваемая Чаша. Говорили старым монахиням и на духу иеромонаху. Стали видеть во снах и старые. И пошел по монастырю слух: чудесная та икона. Тогда поехала настоятельница к архиерею. Положил архиерей: не оглашать до времени, а проверить со всею строгостью и с сердцем чистым, дабы не соблазнились, а пока записать все под клятвой. И стала вести строгую запись ученая монахиня, мать казначея Ксения.

По малу времени от сего шел на свои места отставной служивый, бомбардир, человек убогий, по имени Мартын Кораблев, тащился на костылях после Севастопольской кампании: пухли и отнимались у него ноги. Пристал в монастырь на отдых. Ласково приютили его в монастыре, накормили и обогрели. Пришел убогий Мартын в трапезную палату и увидел ту икону, радостную Неупиваемую Чашу. Тогда, в чаянии сокровенном, поведали ему сестры, что является во снах та икона и любовно наказывает перенести ее в соборную церковь для всенародных молений. Не мог отвести умиленного взора убогий Мартын от радостного лика Пречистой Неупиваемой Чаши и, хоть в великое труждение ему было, положил перед ней три земных поклона. И во всю трапезу сидел, не отводя глаз от невиданного лика, и молился втайне.

А поутру потребовал настоятельница и передал ей под великой клятвой: явилась ему, как наяву будто, дивная та икона Пречистой Богоматери с Золотой Чашей и сказала: «Пей из Моей Чаши, Мартын убогий, – и исцелишься».

Сказала настоятельница:

– Я и сестры обители не единожды сподоблялись откровения Пречистой, но сохраняем сие до времени в тайне.

Тогда неотступно и со слезами стал убогий Мартын просить, чтобы отслужили перед Неупиваемой Чашей молебен с водосвятием. Просьба его с радостью была исполнена, и в трапезной палате совершено было торжественное моление с водосвятием. Со слезами молился весь монастырь, прося чудесного оказания, святили воду, и взял болящий Мартын той воды в склянку и растирал ноги. Но не даровала ему Пречистая исцеления.

Втайне скорбели сестры, и поселялось в душах их искушение и соблазн. С великой печалью оставил Высоко-Владычный монастырь Мартын убогий.

А поутру прибежала, как не в себе, с великим плачем и слезами, старая мать вратарница Вирина на крыльцо настоятельница и вскричала:

– Призрела Пречистая скорби наши! Исцелился Мартын убогий, видела своими глазами! Без костылей ходит!

Не смея радоваться, спрашивали ее: откуда знает? Говорила она, обливаясь радостными слезами:

– У святых ворот рассказывает Мартын народу.

Тогда пошли всей обителью и увидели: стоит солдат Мартын, а кругом него много народу, потому что день был базарный. Босой был Мартын и всем показывал свои ноги. Дивились

сестры – были те ноги, как у всех здоровых, и крестным знамением свидетельствовали и настоятельница, и старые, что еще вчера были те ноги запухшие от воды, как бревна, и желтые, как нарывы. А Мартын показывал костыли и возвещал народу:

– До Михайловского, братцы, едва дополз... Ноги стало ломать, мочи нет! Приняли на ночлег меня, помогли в избу влезть... Положили меня бабы на печь и по моей просьбе стали мне растирать ноги святой водой от Неупиваемой Чаши. А у меня и сил вовсе не стало, будто ноги мне режут! И стал я совсем без памяти, как обмер. И вот, братцы... Даю крестное целование... Пусть меня сейчас Бог убьет!.. Слышу я сладкий голос: «Мартын убогий!» И увидел я Радостную, с Золотой Чашей... С невиданными глазами, как свет живой... «Встань, Мартын убогий, и ходи! И радуйся!» Очнулся я, братцы, ночь темная, не видать в избе... Спать легли все. Чую – не болят ноги! Тронул... Господи! Да где ж бревна-то мои каторжные?! Сам с печи слез, стою – не болят ноги, не слышать их вовсе! Побудил хозяев, засветили лучину... А я хожу по избе и плачу...

Подтвердили его слова мужики и бабы, что пришли с Михайловского с Мартыном. Тогда зашумел народ и просил отслужить молебен Неупиваемой Чаше.

Возликовала Высоко-Владычня обитель, и пошла молва по всей округе, и стали неистощимо притекать к Неупиваемой Чаше, многое множество: в болезнях и скорбях, в унынии и печали, в обидах ищущие утешения. И многие обрели его.

Повелел архиерей, уступая неоднократным просьбам обители и получивших утешение, перенести ту икону в главный собор, прибыл с духовной комиссией и лицезрел самолично. И долгое время не мог отвести взора от неопишуемо радостного лика. Сказал проникновенно:

– Не по уставу писано; но выражение великого Смысла явно.

И повелел ученому архиерейскому мастеру, до лика не прикасаясь, изобразить Младенца, в Чаше стоящего: будет сия икона по ликописному списку – Знамение.

Прибыл в обитель ученый иконописный мастер и дописал Младенца на святом Лоне в Чаше. И положили годовое чествование месяца ноября в двадцать седьмой день.

Год от году притекал к Неупиваемой Чаше народ – год от году больше. Стала округа почитать ту икону и за избавление от пьяного недуга, стала считать своей и наименовала по своему – Упиваемая Чаша.

Еще не отъехавшие в город дачники из окрестностей, окружные помещичьи семьи и горожане ближнего уездного города любят бывать на подмонастырной ярмарке, когда празднуется в Высоко-Владычнем монастыре престол – в день празднования Рождества Богородицы, 8 сентября. Здесь много интересного для любопытного глаза. Вот уже больше полвека тянутся по лесным дорогам к монастырю крестьянские подводы. Из-за сотни верст везут сюда измаявшиеся бабы своих близких – беснующихся, кричащих дикими голосами и порывающихся из-под веревок мужиков звериного образа. Помогает от пьяного недуга «Неупиваемая Чаша». Смотрят потерявшие человеческий образ на неопишуемый лик обезумевшими глазами, не понимая, что и кто Это, светло взирающая с Золотой Чашей, радостная и влекущая за собой, – и затишают. А когда несут Ее тихие девушки, в белых платочках, следуя за «престольной», и поют радостными голосами – «радуйся, Чаше Неупиваемая!» – падают под нее на грязную землю тысячи изболевшихся душою, ищущих радостного утешения. Невидящие воспаленные глаза дико взирают на светлый лик и иступленно кричат подказанное, просимое – «зарекаюсь!» Бьются и вопят с проклятиями кликуши, рвут рубахи, обнажая черные, иссыхающие груди, и иступленно впиваются во влекущие за собой глаза. Приходят невесты и вешают розовые ленты – залог счастья. Молодые бабы приносят первенцев, и на них радостно взирает «Неупиваемая». Что к Ней влечет – не скажет никто: не нашли еще слова сказать внутреннее свое. Чуют только, что радостное нисходит в душу.

Знают в обители, что бродивший в округе разбойник Аким Третьяк принес на икону алмазный перстень, прислал настоятельнице с запиской. Не принял монастырь дара, но записал в свой список, как «чудесное оказание».

Шумит нескладная подмонастырняя ярмарка, кумачами и ситцами кричат пестрые балаганы. Горы белых саней и корыт светятся и в дожде, и в солнце – на черной грязи. Рядком стоят телеги с желтой и синей репой и алой морковью, а к стенам жмутся вываленные на солому ядреная антоновка и яркий анис. Не меняет старая ярмарка исконного вида. И рядками, в веночках, благословляют ручками-крестиками толпу Микола строгие. Нищая калечь гнусит и воеет у монастырских ворот.

И ходит-ходит по грязной, размякшей площади и базару белоголовыми девушками несомая Неупиваемая Чаша. Радостно и маняще взирает на всех.

Шумят по краям ярмарки, к селу, где лошадиное становище, трактиры. Там красными кирпичами кичится богатая для села гостиница Козутопова, «Метропыль», славящаяся солянкой и женским хором – для ярмарки, когда собирается здесь много наезжих – за лошадьми. Бродят эти певицы из хора по балаганам и покупают «ярославские сахарные апельсины», сладкий мак в плиточках и липовые салфеточные кольца. Смотрят, как валится народ под икону.

Смотрят и дачники, и горожане. Выбирают местечко повыше и посуше – отсюда вся ярмарка и монастырь как на ладони – и любят праздником.

Отсюда берут на холст русскую самобытную пестроту и «стильную» красоту заезжие художники. Нравится им белый монастырь, груды камней и белого дерева, ряды желтой и синей репы и кумачовые пятна. Дачники любят снимать, когда народ валится под «Упиваемую Чашу». Улавливают колорит и дух жизни. Насмотревшись, идут к Козутопову есть знаменитую солянку и слушать хор. Пощелкивают накупленными «кузнецами», хрустят репой. Спорят о темноте народной. И мало кто скажет путное.

Ноябрь 1918 г.

Алушта

Глас в ночи. Рассказ помещика

До того я очень любил, как начнут про разное там, «потустороннее», а сам посмеивался. Самые верные люди сообщали о таинственном, что случилось с ними, и при всех ухищрениях трезвого ума никак нельзя было объяснить те случаи естественной причиной, но все-таки оставалась некая для ума лазейка: да, пока необъяснимо, но со временем наука все это объяснит, и так далее. Ну, если бы полвека тому назад сказали, что вот Петр Иванович читает в своей «Богдановке» и в ту же секунду услышат его во всех пунктах земного шара... ну, кто бы мог поверить? А теперь проще чего нельзя, и даже надоело слушать про пудру-империал, из-за тысячи верст. Так вот, я всегда находил лазейку, чтобы укрыться от этого «потустороннего», и даже чувствовал оскорбление моему светлому уму и естеству, тем более что по образованию я естественник. Но с того случая в овраге приемлю радостно, и одного только понять не могу, почему такое благоволение – и не по адресу? избранники-то не очень достойные попались. Впрочем, там бухгалтерия особая.

А случилось со мной вот что.

Помните, господа, по нашему уезду Григория Афанасьевича Спирька, или, как его прозывали, Спирток. Человек отчаянный, промотал все имения, – из земских начальников Столыпин его убрал, – остряк и великий циник. О себе не распространяюсь, но... во святые не попаду, наверное. Во всем грешен, а самое слабое во мне – великий чревоугодник-эстет. Какие обеды закатывал, бывало. И фамилия наша знаменитая: Пра-едалов. Не «про», а «пра»: потомственное закрепление, как «прашур». И вот этот самый Спирток и аз грешный в один прекрасный день, или, вернее, ночь, испытали душевное сотрясение.

Было это ровно четверть века тому назад, до войны. Оба сравнительно еще молодые, с видом на будущее. У Спиртока назревали умирающая тетка с домами в Саратове и большим имением на Волге. Я собирался жениться на милой девушке с состоянием и всю ту зиму провел в Москве. Свадьба наша была назначена на красной горке, и в феврале, помню, приехал я в свое «Прибыtkово», в С... губернии, оформить дело с банком и привести дом в порядок. Все наладил и собирался завтра в Москву.

И нанесла нелегкая Спиртока. Приехал денег перехватить до «тетки». Денег я не дал, угостил завтраком, сыграли с ним на биллиарде, и пришло мне с чего-то в голову... – от гостя хотел избавиться? – «а не махнуть ли к Лихотиным, в «Копылевку»? А они всегда к Великому посту приезжали из С... к себе в деревню, оздоровиться. Чудесный у них был повар, отменная всегда рыба, свои промысла на Каспии, заветный погреб, запасы бургонских вин, от какого-то обедневшего маркиза... Ну, Спирток – с моим удовольствием, размечтался. И я о лихотинской кулебяке вспомнил, засосало под ложечкой, – айда. Хотел протелеграфировать, а телефон молчит, столбы вчера бурей повалило. Ладно, на голову упадем – еще лучше, экстренные обеды иной раз и званые перекрывают. Заметьте: низменный, так сказать, мотив поездки, – пожрать.

В легких саночках, парой. До «Копылевки» пятнадцать верст, рядышком совсем. Погода приятная, с просветцем, после вчерашней метели прихватило, ветерок с востока, степной, кусается. Спирток был налегке, приехал на земских, в полудохе, в холостых ботиках, – ближайšie мы соседи. Я надел поддевку на барашке, тепло мне показалось, не забрал даже для ног тулупа, а всегда, бывало, клали, вот подите, – совсем вышло по-городскому, валенок даже не надел – час езды, дорога скатертью. За кучера взял Власку-кучеренка, совсем мальчишку. И о нем не подумалось, что в вытертом полушубке только. Стряпуха, его мать, крикнула ему, помню: «Власка, оделся бы, дурачок, потеплей, папенькин азам надел бы». Но Власка отмахнулся: «ну, далеко ли... путаться мне в нем!»

Выехали часу в четвертом. Прямая дорога, на село Вздвигенки, по-шел. Яблочными садами, в отлогий спуск. В садах просвечивало солнцем, к закату уж. Спустились, стали на

взлобок подниматься, и тут, представьте себе, что видим. Оттуда, из-за взлобка, навстречу... зайцы! целая стая, штук пятнадцать... невиданно. Мчат под изволок, к нам летят через головы, будто за ними гонят. Что такое?! Спирток ахнул: «Эх, ружьеца-то нет!..» Сиганули, чуть не под ноги лошадям. И что-то в ихнем гоне показалось мне жуткое, зловещее... что-то их пугануло где-то. И надо вам сказать, что за тем взлобком у меня скирды были у риг, зайцы к ним стаились, под вечер, покормиться. И что-то их всполошило там. Что такое?.. Власка и говорит: «Ах, барин... зайцы-то нам как нехорошо перестегнули, путя не будет», – набрался примет дурацких. Спирток ему стишок про зайца пропел, не очень скромный.

И вдруг стемнело, как сумерки. Вытянулись на взлобок – и ахнули. Вон чего зайцы всполошились: буран. Прямо стеной туча, да ка-ка-я!.. И так дохнуло... как в грудь колуном всадило. За садами, за взлобком-то, нам не видно было, а тут сразу и... представление, как в театре. И прямо в лицо, сечет. Померкло, заволокло... – одним словом, «буря мглою небо кроет»... помните, у Толстого, парень из Пульсена-христоматии. Самое то. Поземка пошла, побежали белые выюнки-юрки, как пуганные зайцы... заветрело, завыло, и в бок, и сверху, и... свету божьего не видать.

Власка опять: «Ба-рин... назад, может, лучше... юра какая взялась... вон они, зайцы-то!..» До Вдвигенок пять верст, прямая дорога, – шпарь! Такое легкомыслие. А я знавал бураны наши степные, но тут прямо какое-то непонятное легкомыслие. И Спирток руки потирает, крикает: вот, сейчас тряханем под кулебячку, согреемся, с девицами потанцуем.

А тут своя пляска пошла, так хватило, как иглами по бокам, насквозь. Степные бураны наши и новый тулуп пронизут, а на нас будто кисейка только. Спирток уж плясать начал, в холостых ботинках. И доха-то у него по швам поролась.

«А не вернуться ли, – говорит, – чего-то меня цыганским потом прохватывать начало...» Запросишься. «Ворочай, Власка, – говорю, – Бог с ней, и с кулебякой». Тот поворотил и... – «да где ж дорога-то?» – спрашивает. Нет дороги. За какие-нибудь двадцать минут попали мы в ад крошечный, в живую тьму. Как в театре: повернул кто-то ручку, трюк!.. – кончилось освещение, тьма и тьма. Ночь – и грозящая музыка бурана.

Ну, будто сон... Только-только садами ехали, солнышко золотилось в сучьях, вот-вот весенняя музыка начинается... – а тут!.. куда-то движемся, в пустоту. Промоины, овражки – по тряске слышно. Думаю – дубовый косячок найти, оттуда можно определиться. «Прибыtkово» мое в трех верстах, под изволок, лошади бы учуяли... – нет никакого дубнячка-кустика. Соображаю: промоины, трясет нас... это мы влево забираем, на Касогово – вправо надо. Велел правей. Власка мой тоже согласился: верно, на Касогово забрали. По ветру определиться? А ветер со всех концов, самая разъехидная крутень, вертит, несет, сечет, и мелко-мелко, едкой снеговой пылью, секущей, острой. И по-шло... будто совками в рыло, горстями, как из кулей... в груди как ножами роет, кончился воздух, дышать нечем, одна пустота ломучая. Ужасное это ощущение, когда кровь разламывает все ткани, кости, – кольями грудь ломает. Стало мне жутковато: в глазах зайцы, и такое, знаете, мистическое чувство, будто это не просто стихия разыгралась, а что-то живое, злое, сбивающее, гонящее. И как бы мне приоткрылся «таинственный лик вещей»: кто-то за ними кроется.

Сколько мы так вертелись... утерялся смысл времени. Минуты ли, часы ли, – будто выехали давно-давно. Вынимаю часы – не вижу. И пальцы закалели. Слышу: Власка мой что-то хлопочет, уши все потирает рукавицей. «Ба-рин, ми-ленький... – никогда так не говорил, – замерзаю, варежки не взял, голые рукавицы... и снутри не греет, тюрки только похлебал с хлебушком». Парнишка сразу и заслабел. Втащил я его в санки, сам сел править. А куда – не знаю.

И догадало меня опять на часы взглянуть: как-нибудь спичку чиркну, увижу время. Снял замшевую теплую перчатку, полез за спичками... хватить! – обронил перчатку. Где найти! – в миг замело сугробом. Не усидишь: стегает, пригибает. Засунул руку, повернулся лицом к саням. А

там Спирток ботиками выплясывает, ругает Власку: все сено ногами затолок. А где там сено, – все снегом завалило. Насунул я Власкины рукавицы, а они, как ора, смерзлись, тепла не держат. Руки онемели, вожжи у меня выпали, и думаю: пропадем, вот она, гибель-то, совсем просто.

И оттого, что казалось простым и неизменным, – стало жутко. Говорю Спиртоку: «А ведь пропадем мы!» А он, циник, еще острит: «Скверно, без подготовки приходится... а главное до кулебячки-то не доедем». И понял я, что – «без подготовки», прямо отсюда – туда. И тут, впервые в жизни, подумалось: «Как же я так и не собрался все обдумать, столько еще надо разрешить тех вопросов... о Боге, о бытии, о – будущем. Есть – или ничего?» От этого и жутко стало, что «без подготовки», сразу, как на внезапном экзамене, и будет присутствовать «сам министр».

И вдруг – кинуло к лошадям! Помню, ткнулся в мокрую шерсть и полетел куда-то – ляпота! – как в приятный пух. Мелькнуло: «Вот оно, самое то?..» А совсем нестрашно. И тут же понял, что это еще не то, а в овраг свалились, в пуховой снег. И лошади ничего, удачно. Спирток зовет: «Жив, ямщик удалой?.. черт тебя побери... глаз я выколол, с твоей правкой!.. приехали к кулебяке, лопай!» Циник.

Сползлись, сидим, ничего не видим. А Спирток сучком веку разорвал, в куст попал. Говорю: «Снежком примачивай. «Да что снежком, теперь бы чинной или полынной...» И так вышло у него аппетитно, под всеми ложечками засосало.

Но что же делать? Власка совсем ослаб, стонет только: «ба-рин... ми-ленький... голубчик... замерза-ю... ах, мамынька... папаныкин азам навязывала...» Дул я ему в загривок: первое средство в сознание ввести, встряхнуть. Сразу подействовало: «Я, говорит, ничего-с». Говорю: «В струне надо быть, выбираться, а не разводить панихиду». А куда выбираться тут!.. И лошади сбились к нам, одна меня мордой в темя стукнула – в сознание ввела. Велел я Власке в снег закапываться поглубже. Спирток уж сам себе нору роет, и острит, с... с... – «выроем себе по могилке, а метель отпоет, что полагается».

Стали мы зарываться в снег, ничего уже не ожидая, кроме... неведомого. Власка рядом со мной улегся, охватил меня за ногу, прижался. – «Барин... миленький... боюсь помирать... не хотца...» А он знал, как легко замерзнуть: у него дядя замерз совсем около овина, из «монопольки» шел, чуть выпивши, в буран попал. И стал он молитвы шептать, про Богородицу что-то повторял. Тут и я попробовал вспомнить, как молятся. И, к стыду моему, не вспомнил. До половины только «Богородицу» знал, – забыл. Стал «Отче наш» вспоминать – до «хлеба насущного» дошептал, а дальше – как отшибло. А из Овидия отлично помнил, мог «Фаэтон» прочесть. И тут мы затихли... и затихли бы на веки веков, если бы не... Конечно, замерзли бы: выяснилось после, – под утро градусник упал до 23. Циклоном налетело. Это в степях бывает.

Как спаслись? Вот тут-то самое главное и есть – как. Почему к нам такое благоволение проявилось? Может быть, ради Власки, а может быть, ради простецкой веры нашего попаки Семена. А может быть, для того, чтобы я рассказал вам здесь, для укрепления? Все учтано там, прошлое не проходит там, времени нет там... все в одном миге там... все живет и есть, и нынешнее наше там уже и тогда было, и учтено, и вот указано было, чтобы я сам познал и рассказал вам в трудные наши дни, для укрепления. И – для нынешней моей веры, в отпущение.

Сколько мы были в забытии – не знаю. Время тогда пропало. Часы, пожалуй. Помню, что снилось мне. Барахтался я в великой горе, и гора была эта не простая, а все восковые свечки, великие вороха свечек, холодных, белых, как чистый мрамор. Лезу, а подо мной свечки оползают, цапаюсь за них, а они ворохами на меня... и зайцы по ним, за ними, из-за бугра свечного глядят на меня стеклянными глазами, прижавши уши... и что-то за ними есть, куда я хочу вползти. Столько я перемучился на этих катучих свечках, столько в них утопал...

И вдруг прямо над головою – бо-оммм!.. – церковный колокол, благовест. Пропали мои свечки-горы, вскинул я головой – метет! И опять будто вверху где-то колоколья, – бо-оммм... – совсем близко. И слышу – Власка: «Ба-рин... миленький... звонят нам!» Так и ска-

зал не своим голосом, а жалким, детским: нам. И чувствую – нам звонят. Такое ощущение: нам. Спирток тоже на колокола отозвался: «Слышишь?..» И все острит: «И услыша в поле колокола звон...»

И вдруг заорал дико: «Вздвиженки это наши, наш колокол, у меня слух тонкий! айда на звон!» И откуда у нас сила нашлась, – во тьме кромешной лошадей выволокли на край оврага, метели уж и не чувствуем... – только слышим: бо-омм... бо-оммм... – ровными промежутками, поглуше и порезче, словно округ нас ходит. Власка кричит: «Близко совсем, теперь я наш овраг знаю», – наш уж стал! – «по звону добегу!»

Словом, в каких-нибудь пять минут доплелись мы по звону за лошадьми до церкви нашего села Вздвиженки. Она на окраине стояла. И видим – ничего не видим, огонечек только. Это было батюшкино окошко, отца Семена. Вдовый старик, уж на покое жил. И странное дело: ночь глухая, а у него свет в окошко. И что же оказалось? Он – уже поджидал! Не предполагал, что будем, а был уверен, что будем, даже самовар поставил!

Подобрались мы к окошку, постучались. А он глядит из-за геранек, седая борода, лысинка. Машет нам, и видно, как рот свой беззубый разевает, за рамами не слышно. Машет на дверь. Вошли – и слышим: «А я уж давно вас жду, самоварчик для вас согрел». Ну, будто во сне все это, как представление; все во мне перепуталось: гора из свечек, зайцы, буран и попик с самоварчиком, машет нам... – и ему все известно... И тут я почувствовал неопровержимо, всей глубиной душевной, что нет никаких этих там и здесь, а все – едино все связано, все в Одном.

Ввалились и видим: на часиках – без четверти 3. На столе скатерка, хлеб пшеничный, бу-ты-лочка... «Кагору», церковного, – какая предусмотрительность! – поднос со стаканами... и калечная старушенция, бессонная, тащит старенький самоварчик, из которого такими веселыми клубами пар, и из дырки на крышке хлопает. Чудесная эта музыка для замерзшего путника, это всхлипыванье бурлящего самоварчика.

И стал нам попик Семен рассказывать... сказку-быль.

Лег он рано, в восьмом часу. С бурана разморило. И когда засыпал – подумал: «Не дай Бог, ежели кого захватит такой метелью»... И еще подумал: «Надо бы звонить, мужикам сказать... Василий-сторож стар, трудно ему в такую бурю». И заснул.

И вот слышит во сне «глас в нощи»: «Батюшка Симеон, велел бы ты звонить, путники с дороги сбились». И тут проснулся попик. Послушал – шумит метель, не дай Бог. Обуваться надо, одеваться, в метель идти к сторожке, будить Василия... Тут его повалило, и он заснул. И слышит опять голос, настойчивый: «Что же ты не звонишь? путники с пути сбились, замерзают! иди, вели сторожу, звонил чтобы!..» Проснулся попик, подумал: «Это мысли мои шумят, вчера я думал... а надо бы звонить»... И опять будто в соблазн ему: «Кто в такую погоду ездит, только народ взбулгачишь... неохота с постели подыматься. Василия будить надо, сердчать будет...» И так разморило сном, что перекрестился попик, прочитал молитву о плавающих и путешествующих и пригрелся, уснул опять.

И вот в третий раз «глас в нощи», строгий-строгий: «Ты что же, поп? путники замерзают... звони сейчас же!»

Тут попик Семен – с постели, валенки надел, шубенку накинул, разбудил старушку калечную, наказал ставить самовар, а сам побежал сторожа будить – звонить. Старушка спрашивает, чего ты, батюшка, ни свет ни заря чаю запросил, а попик ей: «Гости сейчас будут, чайком отогреть надо!» И такая в нем вера возгорелась, что поставил на окошко восковую свечку и отворил ставню. И поджидал, молясь, у окна. И путники добрели, – «по гласу в нощи», во славу Господа.

*Март, 1937
Париж*

Записки не писателя

I

...Так и озаглавлю. Я не писатель, но надо подвести итог: стукнуло – 70. Пора. Начерно прикинуть, – и потрясен: сколько!.. Но дело не в «сколько», а – что. Неужели... познал?!.. Едва ли сумею изложить, но обязан все же попытаться. Почему – обя-зан?.. Не знаю, но чувствую, что не отмахнуться, что-то велит.

Я и не мыслитель! Но ободряет: сколько было мыслителей, а... – что вышло! А мне-то, неммыслителю, вдруг и удастся?.. Что загадывать... просто перескажу все, а там, кому попадется эта серая тетрадь, пусть! Когда покупал – подумал: какую дадут – и возьму. И вот серая. Подумалось... но тут же и отмахнулся: ведь жизнь-то моя совсем не была «серой», а даже с блеском. Не в смысле красоты, успеха... – хотя и это было, и еще ка-ак! – а с окаянным блеском, когда вот бомбы или шрапнель. Этого повидал достаточно. Итак, просто начну, не утрущаясь, как когда-то мой ученик Егоров. Я в Т-ой гимназии был учителем истории и русского языка. По-те-ха Егоров этот. Дурак?.. Будто и дурак, но старик Капнист... Да что я... какой Капнист?.. Капнист был попечителем Округа, когда я сидел за партой, в 80-х... а это другой, плешивый. Сказал про Егорова: «гениальный дурак»! Именно: так гениально упрощал все, как упрощает... жизнь.

Старик-попечитель вошел в мой – 4-й – класс и сказал: «Вызовите самого слабого «историка». Я мысленно потер руки и не без тревоги посмотрел на толстяка-короткошею: выдержит ли его склеротическая система..? Выдержала, но пришлось мочить лысину, которая стала сизой, как свекла.

О Сократе было, по Иловайскому.

– Расскажите нам, Егоров, о Сократе.

Егоров, прозвищем «Булка», сын богача-сапожника. Всегда жевал: приносил булку за пятак, с икрой и маслом. Я его оторвал от любимого занятия: он вышел к доске прожевывать. Пухлый, тяжелый, розовый, невозмутимый, всегда уверенный, что «все знает». Еще до «Сократа» я спросил его, чтобы подготовить попечителя к представлению:

– Скажите, чем замечателен... Аристотель?

– Аристотель был очень мудрый человек... мудрец... и потому... смотрел всегда под крышу храма... и говорил знаменитые слова: «Я ничего не знаю».

Старичок визгнул и потер плешь. Я сейчас же поставил у первой парты, где он уселся, «столик на аттестат зрелости»... – помните? – с графином и стаканом. Старичок тут же и прихлебнул и понюхал из пузырьчика. Началось «про Сократа». Класс притаился радостно...

– Сократ был очень мудрый человек... му-дрец. И у него была злая жена... Антина...

Старичок поперхнулся и усиленно понюхал из пузырьчика.

– И потому... любил стоять под окнами... и все думал, о... разных вопросах. А она серчала...

– Почему?.. – спросил старичок.

– Да... не занимался делом... гм... не подавал в дом... жалованья.

Старичок клюкнул головой в парту и стал усиленно потирать «свеклу». Егоров взглядом спросил меня – продолжать?.. Старичок покивал: дальше, дальше!..

– Тогда она выплеснула ему на плешивую голову, со второго этажа, горшок горячих щей... чтобы привести его в чувство... ре... реальности!.. – выпалил Егоров, вспомнив мои слова.

Старичок весь затрепыхался, и пришлось вызвать нашего доктора. Старичка вывели под руки, и он уехал, не кончив ревизии. Мне был выговор, но обошлось.

Так вот-с жизнь упрощает, как Егоров. Вскрывает всю «изнанку», даже для дураков. Да вот, атомная бомба, до которой мы дожили. Разве не «упрощение»? Ну, кто не понимает... А я понял.

Не только упрощает, – жизнь складывается такими метафорами, так все разжевывает, что надо быть дураком, чтобы добиться того, чего добились. Вывод..? Или человечество поглупело, или... всегда было круглым дураком. Конечно, иносказательно. «Ума» у человечества – палата. Но почему же... все – так?!.. Я даже рад, что «неписатель». Писатель всегда с «поползновением», хотя и исполнен вдохновенья. Боится, что ли, «упрощений»?.. И потому сворачивает с дороги, на которую вдохновенье его влекло? Вот чего не найти у Пушкина, и вот почему надо у Пушкина учиться. Он о-чень «упрощает». Это доказал мой ученик Субботин, сын нашего протоиерея, – смело скажу: гениальнейший! Доказал в пробном сочинении на аттестат зрелости. Мысль не моя, – его. Но ревнивая к «тайнам» сила... нечто, жизни враждебное, его прихлопнула: милый мой Васик погиб от аппендицита, на втором курсе историко-филологического. Очень жалел Ключевский: готовил себе смену.

Жизнь любит поигрывать символами. Да вот мой случай. Я весь вышел из... пряников: мой отец был пряничный фабрикант. И деды искони были пряничники. Может быть, слыхивали про нашу фирму – «Печкин и Сын»? Во всяком случае, «тверские пряники» знаете. Такие белые, крутые, с мятным духом, – на елку покупали: человечки, рыбки, лошадки, овечки, петушки... других не мяли, даже и звездочек. Дед внушал мне: «наше дело – радость да сладость, помни!» Гордился своим делом. И я гордился. Да и теперь горжусь, все прикинув. Все деды – «выпекалы-пряничники». Благодарю Тебя, Господи! – зла никому не делали, были нрава веселого: радость-сладость. Пряники наши известны по всей России.

Шел пряник и в Бухару: остались в памяти пышные грамоты эмира. Ел наш пряник и император Николай Павлович. У меня хранится его юношеское письмо – «благодарю за пряники». Памятливый был: в 1828 году мой прадед получил почетное гражданство, а то был «из казенных». Говорили, что такого красавца еще и не бывало.

Известно ли вам, что наша Тверь славилась красавицами? Большинство истовых тверянок – высокие, статные чуть, будто и горделивые – величаво-белорумяные... – «живой пряник». И – с детства во мне осталось – душистые, мяткой пахли. И, при чуть-горделивости, такие мягкие сердцем, взглядом, движеньями, всей повадкой. Думается, что Некрасов про тверянок и сочинил «...их только слепой не заметит, а зрячий про них говорит: пройдет – словно солнцем осветит, посмотрит – рублем подарит». Матушка рассказывала, что Некрасов «пил у нас чай с пряниками и подарил Колюше стишки “Что так жадно глядишь на дорогу...”». «Колюша» – мой отец. Она была очень скромная, стыдливая. Когда поминала про стишки – краснела. Мне кажется, что это про нее стишки эти.

Не лишнее это, про пряники: это связано с моим «открытием». Чувствую, что связано, – внутренней пуповиной. Не лишнее и то, что сказал про прадеда: красавец.

Когда прадед поехал в Питер благодарить царя... «вежливость соблости», хоть капитан-исправник и отговаривал, – ему ставили там рогатки. Стравил на всяких «цепных» пудиков двадцать всякого товару и приложил по случаю всяких – «надо-ж-дать», «надо-до-ложить». Ждал и докладывал, и своего добился. Царь сказал: «какие у меня кавалергарды-то!...» Хлопнул в ладоши и показал царице. Та «ручку пожаловала». Приняла милостиво короб «особенных» – сам прадед мял! – и «с приятностью покивала». Царь велел выдать из кабинетских – «тыщу на серебро» и серебряные часы, с Орлом, – на пакетах у нас печатались. Пожаловал фирме «герб под горностаем». И... – черта-то наша родная – простота, при многих пороках наших, оставил прадеда обедать за семейным столом, – хранилась у нас карточка-меню: был там «жареный

поросенок с кашей», на Святках было. Отлично подгадал прадед, поехав на Рождество, зато своего добился: Святки остались для него «царскими».

Надо думать, что его выправка, рост и красота много помогли: «Все на меня глазели, особенно женский пол». Царь его расцеловал, а царица «с приятностью» сказала: «Как раз твои пряники на нашу елку». Кто-то из вышних ему так посмеялся: «На полвека опоздал! был бы при Матушке-Екатерине графом... и в великих миллионерах».

С этим связан во мне мой «исток». Я и тверяк, и москвич. Дед по матери – московский купец С-в, оптовик по красному товару. По смерти первой жены, приехал по делам в Тверь и тут приглядел вторую дочь краснотоварца-покупателя. Вот почему у меня трое сводных дядей, разного калибра, и все в Москве. Матушка бывала, девушкой, в Твери, гащивала у бабушки; там-то и встретилась с отцом, тоже красавцем-пряничником. Не нравилось деду-москвичу, что «пряничники», но покорило, что «жалованные», почетные граждане, и... «порода». Это сказалось впоследствии, когда я вступил в Москву, на отношениях с дядями, особенно с «книжным» дядей.

Я унаследовал много статей от дедов-прянишников и от матери. Это было причиной моих успехов и неудач в жизни, почти трагических. Но то, что я нес в себе от «радостей-сладостей», очень, думаю, повлияло на мой «итог». Без «пряников» я, может быть, и не приступил бы к выводам. А-а, жизнь-то!.. И как же «у-прощено!» – никакая философская система и в сравнение идти не может: из «систем» я не высосал и капельки моего крепящего молочка.

Я рос и мужал «на пряниках». Смешон? Никто не посмеется, когда проникнет, что такое «русские пряники».

Помню деда, тоже красавца, и его редко-душевный склад. Он был «идеалистом» по терминологии... но лучше упрощу: он был добрый русский человек, душевно-чистый. Правда, с изломами. Как бы его понял Пушкин! Не навязываю же себе, что в маме было от... Тани Лариной! Совершенно иной уклад, замоскворецко-купеческий, исконный, «качельный», с собаками цепными, с гвоздяными заборами, с курильницами староверов, с лестовками, гаданьями, странниками, утрениями, с «мамкой», с обрядностью... с няниными сказками, с болезненной, до обмороков, стыдливостью, с предельным целомудрием... – сколько можно о сем сказать, и я непременно скажу, скажу, обязан!.. с множеством икон в доме обмоленных, почти живых, с глубочайшим чувствованием иного мира, который вот тут близко, глядит и шепчет. Помните, у Пушкина, – «скучный шепот»?.. Сколько всего этого во мне!.. Благодарю Тебя, Господи. Как это ширило мир и углубляло!.. Этот-то мир, народный, из глубин извечных, через Арину Родионовну в нашего Пушкина всосался... и не раскрылся; нечто, жизни враждебное, ревниво помешало. Сам уносясь, в восторгах, как рассказывал я моим мальчикам!.. – сотни их у меня коснулись сего «мира» и – обещали богатый плод. Милые мои, где-то вы?!.. Кой-кого я нашел в Европе – отличная иллюстрация к «итогу». Теперь, растревожив душу, чувствую, что надо же, наконец, все сказать.

Да, в маме было – пусть хотя бы чуть-чуть – от «милрой Тани». И вот какое счастье: отец был удачным ей дополнением. Такого образа я не знаю в литературе нашей... – проглядели?!.. Я-то не проглядел; а это самое важное, без сего мне бы и не открылось – что открылось...

Май, 1948

II

Кажется, начал верно, уясняя себе, – а может быть, и не себе только? – «откуда есмь пошел»; то есть, с моих «истоков». И это вовсе не потому, что привык к учебному канону – вступление-изложение-заключение, – что я преподавал историю, набил руку, как педагог-словесник, раскрывать «основную мысль» произведения для моих мальчиков. Что мне нужно? Мне нужно доискаться в моей жизни «итога», в сущности – той же «основной идеи».

Потому-то и пошел «от предков». И вдруг мелькнуло, будто уж и нащупал самое главное, будто уж знаю все: почему жизнь уперлась в тупик... верней – подошла к провалу и вот-вот и провалится. Не личная моя жизнь, – а она-то уж провалилась, знаю... – а жизнь всеобщая, предмет «философии Истории».

Почему-то теперь мне кажется, что я это давно предвидел, за годы еще до нашего разгрома. Собственно, не предвидел, а предощущал мигами, иногда даже на уроках вдруг вдохновенно открывалось, как, должно быть, бывает у поэтов и, несомненно, у пророков. Написалось – и вот смущен, что возвожу себя в такой ранг. Но правды-то от себя нечего скрывать: было и – есть. И потому тороплюсь занести в «Главную», как бухгалтер: в «Главной» – то, ведь, – итоги. Лично мне это, пожалуй, лишнее: списываюсь «на амортизацию». А это я потому, что мой-то урок еще не кончен, пять минут еще до звонка... и урок-то уж последний, перед каникулами на большие каникулы... Отсюда вот и мои «записки», для моих милых мальчиков: пусть прочитают на досуге, для подготовки, если потребуется, к переэкзаменовкам.

Какое, однако, сомнение!.. И несколько не сомнение, а как бы по властному инстинкту: «велению Божию послушный». Но что мне до того, «как обо мне подумают»? – перед всеобщим провалом-то, когда уж не до?..

Итак, вперед!

Вся основа моя – от предков, от наших «пряников». И как же благостно и глубоко дедовское напутствие: «Помни, Серьга, исконное наше: «радость-сладость!» И еще крепко запомнилось, его же: «Придут черные дни уныния, гибнуть будешь... – за край Ризы Господней цапайся, – вызволит!» «За край Ризы Господней...» – где это я прочел?.. Здесь прочел, у проникновенного нашего мудреца. И... как это благостно!..

Дед, Иван Васильевич, сколько его помню, всегда был радостный, праздничный, как с виду, так и душой. После я разобрался, почему – всегда праздничный: будто он все познал и, так сказать, «стяжал Благодать». Не дерзну сравнивать с несравнимым нашим Святым, который радовался всегда, во всем. Наша семья его очень почитала, еще задолго до его прославления. Прадед Василий Иванович удостоился его видеть и принять от него благословение и укрепляющее напутствие: «Ступай, радость моя, как ступал доселе, Господь с тобой».

И мама, и мой отец, «всегда где-то витающий» (всегда говорила с улыбкой мама), казались тоже праздничными. А почему я похмурился и уже давно похмурился..? Чуткие мои мальчики меня прозвали, с первых же моих уроков, – а совсем еще зеленца, – «сумрачный добряк». А девушки... – я и в женской гимназии учил, – совсем по-Пушкински: «сумрачно-бледный», – «рыцаря» только не хватало. Не потому ли похмурился, что и тогда уже ощущал-предчувствовал «неблагополучие» и потому «опустил забрало»? Сестра Катюша, тремя годами меньше меня, часто любовно говорила: «мой грустный братик».

Ах, Катюша, Катюша... где-то ты?.. С последнего твоего письма на оберточном лоскутке, в августе 30-го года, с этим ужасным рылом в «шлеме» на пакете, все о тебе закрылось... жива ты, а?.. Непостижима твоя судьба, вся – тайна. Начинала блистать, все ждали... и?!.. Господи... это последнее от тебя письмо... с пятнышками твоих слезинок... все мне сказавшее!.. Эти желтые пятнышки растворили давивший камень, и я благодатно плакал забытыми слезами. Теперь не плачу. Ни слова о себе, одно только – «дай силы, Господи!..» Кое-что осветили слухи,

кем-то написанные строки, уже отсюда случайные: «... там, в городе В... после увоза святителя на муки... слабенькая, больная сердцем, в сторожке при соборе, босая... собирает корочки и одежку для совсем нищих... хоронит бездомных и безродных...» И радостно мне и горько.

Разве я мог подумать тогда?! Ты не услышишь и не смутишься от моих слов, – «гениальная моя Катюша!» Всем гениальная... о, сердце!..

Как творила ты в музыке, исполняя Моцарта, Бетховена, особенно С. Баха... и нашего нежного Чайковского, – все и всех, самых великих и различных музыкально небесного Олимпа! Как ты по-своему раскрыла, на фисгармонии, Бортнянского, данного мне тобою, тобой только! Ты не знаешь, как ты меня вернула!..

Разве могу забыть первое выступление ее, когда она кончала консерваторию «на виртуозку»! Гордились ею и изящно-изысканный Т... и требовательно-властный С..., и восхищался совсем еще молодой тогда Р..., ныне прославленный. Даже тот, похрамывающий, придиричливо-строгий к «гениальным», присяжный критик все-музыки, К... обронил как-то недоуменное: «Гм... вот вам и “без корней”!.. – намекал, вероятно, на «без традиций» на «пряничное» наше?..

В ту пору и в детстве Катюша была вся еще – душа нараспашку, вся наша, всем открывалась радостно-доверчиво. Дед называл ее – «стеклянная ты моя, без крышечки». Всегда перед Рождеством просила она у деда, не очень благоволившего к московскому ее «болтанью» и «бряцанью», – «пряничков», для подруг и «наших музыкантов-мучителей», и дед посылал с нарочным отборный короб «тверских». Она раздаривала пригоршнями, и все, строгие «боги» даже, жевали и жевали. Она и не думала, конечно, что все влюблены в нее, до суровых старцев-гонителей: все лелеяли нежно «пряничную», ждали от нее, своего апофеоза, – «праздника св. музыки», как обронил случайно один из строгих.

И как же ты, Катюша, всех потрясла и оглушила!.. Не разочаровала, а как бы отупила, вдруг, все сломав. Чудесно музыкальное дитя, ты уже начинала творить сама. Больше 30 лет прошло, а я все вижу будто это вчера: как после выпускного по композиции, и после, в тонном салоне меценатки М... куда входили лишь избранные, человек пятнадцать, – ты настояла, чтобы был приглашен и я, – ты покорила всех, повергла в восторженное изумленье. Полушутя, играючи, стремительно отзвучала «Последняя песня», твоя... предельное аллегро, «звучащего света бег». Я не забуду шепот – «безумный ритм... непостижимая техника...»

Я видел лица. Я видел, как побледнела ты, в нежном всегда румянце, свеженькая и чистая, как первый снежок на зорьке... как поднялась, изнемогая, от дивного рояля... видел тебя, светоносную, в концертном платье, заказанном по приказу деда, – «уж раз такое, – надо!» – у элегантнейшей из портних Москвы, не в черном шелке, а в белоснежном плисэ-муслине, с закрытыми плечами и рукавами... – о, моя скромница! – видел тебя на зеркальном щите поднятого крыла рояля... Шла ты с закрытыми глазами, как в сновидении, к стоявшей под пальмой, в нише, отличной фисгармонии... Ты чудесно владела ею. Как светло обвела всех... а я шептал-молился, как маленький: «Господи, помоги Катюшке!..» Я знал, что ты исполнишь сейчас свое, но я не думал – что...

Вышло так неожиданно, для всех неожиданно, что ты исполнишь это. Ты едва молвила, не своим звучным голосом, сочным, грудным контральто, восхищавшим артистов и певцов, а угасающим шепотом, отходящим... – «Херувимская...» – и почувствовал трепет твой, от теплившегося в тебе горенья – света. Твой это был шепот, а... – теперь-то могу определить: трепет – небесных крыл. Студент, я понял тогда впервые, через тебя, Катюша, что высочайшее из искусств – Молитва. Ты сотворила чудо, на глазах всех: ты всех соединила и вовлекла.

О, это последнее, возносящее... – «всяко ныне... житейское... отложим попечение...» Это было твое, чуть мне знакомое... ты наигрывала на нашей фисгармонии, в весенних сумерках, уже больному деду, и он заплакал. А он никогда не плакал. Но тут ты дала полней и совершенней. Ты вся светилась, ты стала... неземная?.. чувствовал я, и все. Минуты упавшего мол-

чанья, онеменья. Я видел твое лицо, нездешнее. Не лицо – лик, душу твою бессмертную. И ужаснулся, какой я темный, и все, кто здесь. Нестерпимы были покашливанья, – от волнения? – шелест шелка, духи, статулька рядом, – «силен» ли, «фавн» ли, – и чья-то морда, трясшая бородой, в финале. Последнее выступление, последний кивок «житейскому»... О нем судили, дивились, домекали...

Потом... нет, не надо о том, после. Тот обморок...! Не вынесла земная оболочка. Катюшка хотела встать, в мертвенно-молчаливом зале... – рукоплесканий не смело быть! – и пала вперед, на клавиатуру... Этот рванувшийся звук, этот тревожный срыв-взрев... Она сейчас же пришла в себя; я отвез ее в ее комнатку на Садовой...

О чем ты плакала, Катюша, когда я вез тебя в автомобиле меценатки?... Я объяснял нервной разбитостью, «разрядом»: чуть ли не по шестнадцать часов работать!.. Я ошибался... но, конечно, и это значило. Теперь я почти знаю, что вызвало твое решение: это давно готовилось, как и все.

Через месяц после того сеанса присутствовавший на нем медик последнего курса одного профессора, тоже музыкант, неожиданно бросил университет, семью, Москву... Об этом после.

Вижу, что заново бесплотно, но так надо: надо все взрыть в себе, встряхнуть, как встряхивают стеклышки в калейдоскопной трубке – все вдруг застынет и даст рисунок.

Катюша – «все сломала». Почему? О сем – дальше. Но для себя отмечу: между твоим и «бегством» того студента... связи, как будто, не было. А может быть, и..? Догадки только. Нет, лучше по череду.

О прадеде я вписал не все; но рассказ о деде пояснит многое в нашем.

Дед Иван тоже был красавец, – высокий, крепкий, статный, темный шатен, с волнистой и пышной бородой, всегда заботливо ухоженной, чуть впросесть. Душился английскими духами, фирмы Блессон, «из Лондона». «Лондон» у него значил – «товар по деньгам». Одевался всегда очень опрятно, даже дома: «не надо распускаться». Даже элегантно одевался, но всегда легко и просто: поддевка ли, сюртук ли, – все его как-то дополняло, «облекало», и все самое первосортное. Шил на него «наш портняга», бывший мастер лучшей московской марки, на покое. Отец, тоже умевший одеваться, ездил «осюртучиваться» в Москву. Одеваться изрядно просто – наша семейная черта, неизвестно откуда взявшаяся.

В обиходе дед был сугубо скромный, в еде – особенно, и строго наблюдал посты. Посты у нас были стойким и радостным законом... Я всегда всецело ждал посты, в молодости и «пошатнулся», лет на десять. А посты почему-то соблюдал. Мы постились также и во все среды и пятницы. Если мальчишкой я срывался, меня начинало мутить, до тошноты, я бежал к маме и признавался с ревом. Она меня не укоряла, давала святой воды, крестила и тихо целовала в лобик. И я сразу становился радостным.

После прадеда дед был почетным старостой нашей соборной церкви. Не опускал ни одной службы, хоть бы и прихворнул. В церковь он никогда не ездил, а до нее было версты полторы с окраины, где был наш поместительный и удивительно уютный дом, бывший барский, и пряничная фабрика со службами. Говорил: «К Богу не подъезжают, а притекают». Меня он очень любил и всегда брал с собой. Катюшу любил не меньше, нежнее как-то, – это я чувствовал и не ревновал, – Катюшу все любили: за ее веселость и открытость, за необычную, не по годам, «разумность», – я бы сказал: «вглядыванье в себя и во все»; за ее откровенное лицо, за полное самоотвержение: она податливо, без колебанья, всем отдавала все, чего ни попроси, будто в веселую игру играла.

В отличку от семьи, волосы у ней были светлые, пепельные и мягкие-мягкие, как ленок, лоб чуть вперед, открытый, ясный, – лучезарный. Я любовался ею, когда помазывали ее елеем: мне казалось, что на нее нисходит «благодать», и батюшке особенно приятно ставить крестик «на такой красивый лобик». Глаза у ней были тоже лучезарные: то – блеклой незабудки,

то синие-синие, как молодой василек. Все наши были брюнетистые, – мама только «каштаночка», – а глаза прямые, ясные: у деда – в мечтательном туманце, «неотразимые» – все говорили, а он шутил: «некому только отражать». У отца – темно-серые, «витающие где-то». У Катюши в глазах-миндалинах, необыкновенно чистых и добрых-добрых, теплился «тихий свет» – «ангельский зрак», по деду. Когда пели за всеобщей – «Свете тихий», я вспоминал Катюшины глаза, – вспоминаю и поныне. Рот у нее был благодушно-мягкий, свежий и сочный – «сладкий»; «дай-ка арбузика», – шутил дед. Я любил ей ерошить губки и называл их – «мюмочки», – такие они податливые и нежные. Ростом была в отца, высоконькая, но статная, соразмерная, хоть и юница. Как и мама, – совсем тверянка, но величаво-покойной поступи еще не нашла: «ма-а-лявка еще», по деду.

Дед был широким «милостынщиком»: шутили, что разорит семью. У него были широкие карманы, и в них парусиновые мешочки с медью. Подавал, когда шел из церкви. Вся дорога уставлялась с обеих сторон нищими, кто хотел: мальчишкам дед никогда не подавал, а девочкам, особенно – смиренным, всегда сугубо. Подавал на обе стороны, будто и не глядел, а все видел. Я тоже подавал из «нищего полтинника». А нашему городскому голове-шутнику, протянувшему лапу к грошикам-полушкам, как-то дед подал, не посмотрев, все засмеялись, а дед нахмурился и сказал наставительно-сурово: «Этим не шути, Прохор... статья может!» Так и сбылось, через много лет, на моих глазах.

Август, 1948

III

Хорошо помню слово деда Ивана: «К Богу не подъезжают, а притекают». Он говорил метко, крепко, – много ему дало чтение Истории. В свободный час, между церковью, фабрикой и конным заводом в «Лужках», верст пять от города, он сидел в кресле у окна, в оливковом бархатном халате, и казался мне старинным вельможей или думным дьяком. Отец говорил: «Одеть вас, папаша, в ферязь... совсем думный дьяк!»

У нас называли «папаша» и «мамаша», на «вы», а перед отходом ко сну нас крестили, а мы целовали ручку. Не «попрощавшись», не могли заснуть; когда родители уезжали в гости, мы просили дедушку-бабушку: «А еще за папашу и мамашу». Вернувшись, родители непременно заходили в детскую и крестили нас, и мы всегда находили утром под подушкой крымское яблочко или дюшес, «из гостей», – как это светло вспомнить!

На окошке каленые орехи на тарелке, перед креслом столик с поднимающейся дощечкой, а на ней толстая История. У стены широкие полки с тяжелыми книгами Татищева, Карамзина, Соловьева, в переплетах. На орехи дед не глядел, а, читая, нащупывал и давил щипцами. Иногда я ему читал вслух, и он заставлял пересказывать, особенно про Святителей: «Запомни, Серьга, как они строили Россию!» Я уже понимал, как строили. Романов дед не любил, даже исторических, – говорил «ро-маны». Одно только позволил – «Войну и мир»: для него это был не ро-ман, а – бытие. Помню рассказал как-то анекдотец:

– «Есть у нас знаменитый профессор Истории... – произнося слово – История, всегда поднимал палец, почему и пишу, из уважения к его памяти, с большой буквы. – Познакомился с ним на Ярыньке. Большой рыболов господин Ключевский. Всякое лето бывает с супругой у нашего свояка... – кожевник Дудин, рядом с нашим именем, старик мудрый, и тоже великий рыболов. – Чаем их угощаю на Ярыньке. Говорим про историю и государственные порядки, а больше слушаем. Редкостный по уму, и шутку любит. Приятелями стали, и много я от него поспособствовал себе. Узнал он, что люблю читать про Историю, и очень одобрял. «А вот, говорю, исторические ро-маны читать не тянет». – «И хорошо делаете», – говорит. Спросил я, почему хорошо. Он хитро так посмотрел, и обинячком мне: «Мы с вами по лещам, а не по верхоплавкам». Я его стал доспрашивать. – «Много у нас исторические романы сочиняют, да мало знают историю... один только за исключение, граф Салиас, который... совсем ее не знает». – А тут у него и сорвись лещище!.. – ...вняк!.. словечко он пустил, с глаголи пишется. Во-от, смеху было!..»

Дед хорошо знал церковный обряд и учил нас с Катюшей песнопениям. Как она выучилась у мамы на рояле и показала успехи, дед выписал ей фисгармонию. Мама окончила Елизаветинский институт с отличием, особенно по рисованию и музыке, и принесла в приданое прекрасный по тем временам рояль Штюльцваге. Мы с Катюшей разыгрывали на нем и на фисгармонии по слуху церковное, особенно любимый дедом страстной канон. Когда исполняли «Се Жених грядет...» или «Чертог Твой...» – трепетали от радостного чего-то в нас... святого света.

Мне было лет 12, Катюше – 9. Однажды, – весенними сумерками, помню, было, галки кружились в небе и кричали... будто стучат костяшки, через форточку слышалось... – Катюша ко мне прильнула и шепнула: «Ах, Сережечка... всегда так, да?..» Я понял, что она хочет сказать: «всегда так будет?» Какие мы были чистые!

Так вот, в церковь – всегда пешком. Мирволил дед только бабушке, из-за больных ног. Отпускал ее в церковь, перекрестив, на смиренной лошадке, в покойной пролетке, с самым степенным кучером. Попасть в кучера у деда было нелегко, «как на аттестат зрелости», шутил отец. Ни пить, ни курить, ни «баловаться»: кучером мог быть только «цельный мужик», жена-

тый или вдовый, и не моложе сорока лет. Дед никогда не говорил – «кучер», – не наше слово, – а «ездовой» или «выездной».

У нас было трое ездовых, и служили до срока, пока могли править тройкой «горячих». А там – на конный завод в Лужки. Совсем заслуженные выходили на спокой, могли заниматься, кто чем хотел, на полном харче: плели плетушки и короба под пряники, драли осину на щепу, а больше рыбачили на Ярыньке, кто как излавчивался, – по сомам, лещам и налимам; могли на базаре продавать, посылали и нам в гостинец. Я лавливал с ними крупных окуней и необыкновенных ершей, в четверть даже, и наслушался их рассказов про лошадей и про все, особенно «из природы».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.